### Мертвое прошлое

#### Айзек Азимов

Арнольд Поттерли, доктор философии, преподавал древнюю историю. Занятие, казалось бы, самое безобидное. И мир претерпел неслыханные перемены именно потому, что Арнольд Поттерли выглядел совершенно так, как должен выглядеть профессор, преподающий древнюю историю.

Обладай профессор Поттерли массивным квадратным подбородком, сверкающими глазами, орлиным носом и широкими плечами, Тэддиус Эремен, заведующий отделом хроноскопии, несомненно, принял бы надлежащие меры.

Но Тэддиус Эремен видел перед собой только тихого человечка с курносым носом-пуговкой между выцветшими голубыми глазами, грустно глядевшими на заведующего отделом хроноскопии, — короче говоря, он видел перед собой щуплого, аккуратно одетого историка, который от редеющих каштановых волос на макушке до тщательно вычищенных башмаков, довершавших респектабельный старомодный костюм, казалось, был помечен штампом «разбавленное молоко».

— Чем могу быть вам полезен, профессор Поттерли? — любезно осведомился Эремен.

И профессор Поттерли ответил негромким голосом, который отлично гармонировал с его наружностью:

— Мистер Эремен, я пришел к вам, потому что вы глава всей хроноскопии.

Эремен улыбнулся.

— Ну, это не совсем точно. Я ответствен перед Всемирным комиссаром научных исследований, а он в свою очередь — перед Генеральным секретарем ООН. А они оба, разумеется, ответственны перед суверенными народами Земли.

Профессор Поттерли покачал головой.

— Они не интересуются хроноскопией. Я пришел к вам, сэр, потому что вот уже два года я пытаюсь получить разрешение на обзор времени — то есть на хроноскопию — в связи с моими изысканиями по истории древнего Карфагена. Однако получить разрешение мне не удалось. Дотацию на исследования мне дали в самом законном порядке. Моя интеллектуальная работа протекает в полном соответствии с правилами, и все же...

— Разумеется, о нарушении правил и речи быть не может, — перебил его Эремен еще более любезным тоном, перебирая тонкие репродукционные листки в папке с фамилией Поттерли. Эти листки были получены с Мультивака, чей обширный аналогический мозг содержал весь архив отдела. После окончания беседы листки можно будет уничтожить, а в случае необходимости репродуцировать вновь за какие-нибудь две-три минуты.

Эремен просматривал листки, а в его ушах продолжал звучать тихий, монотонный голос профессора Поттерли:

— Мне следует объяснить, что проблема, над которой я работаю, имеет огромное значение. Карфаген знаменовал высший расцвет античной коммерции. Карфаген доримской эпохи во многом можно сравнить с доатомной Америкой. По крайней мере в том отношении, что он придавал огромное значение ремеслу, коммерции и вообще деловой деятельности. Карфагеняне были самыми отважными мореходами и открывателями новых земель до викингов и в этом отношении намного превосходили хваленых греков. Истинная история Карфагена была бы очень поучительной. Однако до сих пор все, что нам известно о нем, извлекалось из письменных памятников его злейших врагов — греков и римлян. Карфаген ничего не написал в собственную защиту или эти труды не сохранились. И вот карфагеняне вошли в историю как кучка архизлодеев, и, возможно, без всякого к тому основания. Обзор времени облегчил бы установление истины.

И так далее и тому подобное.

Продолжая проглядывать репродукционные листки, Эремен заметил:

— Поймите, профессор Поттерли, хроноскопия, или обзор времени, как вы предпочитаете ее называть, процесс весьма трудный.

Профессор Поттерли, недовольный, что его перебили, нахмурился и сказал:

— Я ведь прошу только сделать отдельный обзор определенных эпох и мест, которые я укажу.

Эремен вздохнул.

— Даже несколько обзоров, даже один... Это же невероятно тонкое искусство. Скажем, наводка на фокус, получение на экране искомой сцены, удержание ее на экране. А синхронизация звука, которая требует абсолютно независимой цепи!

— Но ведь проблема, над которой я работаю, достаточно важна, чтобы оправдать значительную затрату усилий.

— Разумеется, сэр! Несомненно, — сразу ответил Эремен (отрицать важность чьей-то темы было бы непростительной грубостью). — Но поймите, даже самый простой обзор требует длительной подготовки. Список тех, кому необходимо воспользоваться хроноскопом, огромен, а очередь к Мультиваку, снабжающему нас необходимыми предварительными данными, еще больше.

— Но неужели ничего нельзя сделать? — расстроенно спросил Поттерли. — Ведь уже два года...

— Вопрос первоочередности, сэр. Мне очень жаль... Может быть, сигарету?

Историк вздрогнул, его глаза внезапно расширились, и он отпрянул от протянутой ему пачки. Эремен удивленно отодвинул ее, хотел было сам достать сигарету, но передумал.

Когда он убрал пачку, Поттерли вздохнул с откровенным облегчением и сказал:

— А нельзя ли как-нибудь пересмотреть список и поставить меня на самый ранний срок, какой только возможен? Право, не знаю, как объяснить...

Эремен улыбнулся. Некоторые его посетители на этой стадии предлагали деньги, что, конечно, тоже не приносило им никакой пользы.

— Первоочередность тем устанавливает счетно-вычислительная машина, — объяснил он. — Самовольно менять ее решения я не имею права.

Поттерли встал. Он был очень небольшого роста — от силы пять с половиной футов.

— В таком случае всего хорошего, сэр, — сухо сказал он.

— Всего хорошего, профессор Поттерли, и, поверьте, я искренне сожалею.

Он протянул руку, и Поттерли вяло ее пожал.

Едва историк вышел, как Эремен позвонил секретарше и, когда она появилась, вручил ей папку.

— Это можно уничтожить, — сказал он.

Оставшись один, он с горечью улыбнулся. Еще одна услуга из тех, которые он уже четверть века оказывает человечеству. Услуга через отказ. Ну, во всяком случае, с этим чудаком затруднений не было. В иных случаях приходилось оказывать давление по месту работы, а иногда и отбирать дотации. Через пять минут Эремен уже забыл про профессора Поттерли, а когда он впоследствии вспоминал этот день, то неизменно приходил к выводу, что никакие дурные предчувствия его не томили.

В течение первого года после того, как его впервые постигло это разочарование, Арнольд Поттерли испытывал... только разочарование. Однако на втором году из этого разочарования родилась мысль, которая сперва напугала его, а потом увлекла. Воплотить эту мысль в дело ему мешали два обстоятельства, но к ним не относился тот несомненный факт, что такие действия были бы вопиющим нарушением этики.

Мешала ему, во-первых, еще не угасшая надежда, что власти в конце концов дадут необходимое разрешение. Но теперь, после беседы с Эременом, эта надежда окончательно угасла.

Вторым препятствием была даже не надежда, а горькое сознание собственной беспомощности. Он не был физиком и не знал ни одного физика, к которому мог бы обратиться за помощью. На физическом факультете его университета работали люди, избалованные дотациями и поглощенные своей специальностью. В лучшем случае они просто не стали бы его слушать, а в худшем доложили бы начальству о его интеллектуальной анархии, а тогда его, пожалуй, вообще лишили бы дотации на изучение Карфагена, от которой зависело все.

Пойти на такой риск он не мог. Но, с другой стороны, продолжать исследования он мог бы только с помощью хроноскопии. Без нее и дотация лишалась всякого смысла.

За неделю до свидания с Эременом перед Поттерли, хотя тогда он этого не осознал, открылась возможность преодолеть второе препятствие. Это произошло на одном из традиционных факультетских чаепитий. Поттерли неизменно являлся на такие официальные сборища, потому что видел в этом свою обязанность, а к своим обязанностям он относился серьезно. Однако, исполнив этот долг, он уже не считал нужным поддерживать светский разговор или знакомиться с новыми людьми. Всегда воздержанный, он выпивал не больше двух рюмок, обменивался двумя-тремя вежливыми фразами с деканом или заведующими кафедрами, сухо улыбался остальным и уходил домой как мог раньше.

И на этом последнем чаепитии он при обычных обстоятельствах не обратил бы ни малейшего внимания на молодого человека, который одиноко стоял в углу. Ему бы и в голову не пришло заговорить с этим молодым человеком. Но сложное стечение обстоятельств заставило его на этот раз поступить наперекор своим привычкам.

Утром за завтраком миссис Поттерли грустно сказала, что ей опять снилась Лорель, но на этот раз взрослая Лорель, хотя лицо ее оставалось лицом той трехлетней девочки, которая была их дочерью. Поттерли не перебивал жену. В давние времена он пытался бороться с этими ее настроениями, когда она бывала способна думать только о прошлом и о смерти. Ни сны, ни разговоры не вернут им Лорель. И все же, если Кэролайн Поттерли так легче, пусть она грезит и разговаривает.

Однако, отправившись на утреннюю лекцию, Поттерли вдруг обнаружил, что на этот раз нелепые мысли Кэролайн как-то подействовали на него. Взрослая Лорель! Прошло уже почти двадцать лет со дня ее смерти — смерти их единственного ребенка и тогда и во веки веков. И все это время, вспоминая ее, он вспоминал трехлетнюю девочку.

Но теперь он подумал: будь она жива сейчас, ей было бы не три года, а почти двадцать три!

И против своей воли он попытался вообразить, как Лорель постепенно становилась бы старше, пока наконец ей не исполнилось бы двадцать три года. Это ему не удалось.

И все же он пытался: Лорель красит губы, за Лорель ухаживают, Лорель... выходит замуж!

Вот почему, когда он увидел, как этот молодой человек застенчиво стоит в стороне от равнодушно снующей вокруг группы преподавателей, ему пришла в голову мысль, достойная Дон Кихота: ведь такой вот мальчишка мог жениться на Лорель! А может быть, даже и этот самый мальчишка...

Ведь Лорель могла бы познакомиться с ним — здесь, в университете, или как-нибудь вечером у себя дома, если бы они пригласили этого молодого человека в гости. Они могли бы понравиться друг другу. Лорель, несомненно, была бы хорошенькой, а этот юноша даже красив — смуглое, худое, сосредоточенное лицо, уверенные, легкие движения.

Эти сны наяву внезапно рассеялись. Однако Поттерли поймал себя на глупом ощущении, что молодой человек уже не посторонний ему, а как бы его возможный зять в стране того, что могло бы быть. И вдруг заметил, что уже подошел к юноше. Это был почти самогипноз. Он протянул руку.

— Я Арнольд Поттерли с исторического факультета. Если не ошибаюсь, вы здесь недавно?

Молодой человек, по-видимому, удивился и неловко перехватил рюмку левой рукой, чтобы освободить правую.

— Меня зовут Джонас Фостер, сэр, — сказал он, пожимая руку Поттерли, — я преподаватель физики. Я в университете недавно — первый семестр.

Поттерли кивнул.

— Желаю вам здесь счастья и больших успехов!

На атом тогда все и кончилось. Поттерли опомнился, смутился и отошел. Он было оглянулся, но иллюзия родственной связи полностью рассеялась. Действительность вновь вступила в свои права, и он рассердился на себя за то, что поддался нелепым рассказам жены про Лорель.

Однако неделю спустя, в тот момент, когда Эремен что-то втолковывал ему, Поттерли вдруг вспомнил про молодого человека. Преподаватель физики! Молодой преподаватель! Неужели в ту минуту он оглох? Неужели произошло короткое замыкание где-то между ухом и мозгом? Или сработала подсознательная самоцензура, так как в ближайшем будущем ему предстояло свидание с заведующим отделом хроноскопии?

Свидание это оказалось бесполезным, но воспоминание о молодом человеке, с которым он обменялся парой ничего не значащих фраз, помешало Поттерли настаивать на своей просьбе. Ему даже захотелось поскорее уйти.

И, возвращаясь в скоростном вертолете в университет, Поттерли чуть не пожалел, что никогда не был суеверным человеком. Ведь тогда он мог бы утешиться мыслью, что это случайное, ненужное знакомство в действительности было делом рук всеведущей и целеустремленной Судьбы.

Джонас Фостер неплохо знал академическую жизнь. Одна только долгая изнурительная борьба за первую ученую степень сделала бы ветераном кого угодно, а ему ведь потом был поручен курс лекций, и это окончательно его отполировало.

Однако теперь он стал «преподавателем Джонасом Фостером». Впереди его ждало профессорское звание. И поэтому его отношение к университетским профессорам стало иным.

Во-первых, его дальнейшее повышение зависело от того, отдадут ли они ему свои голоса, а во-вторых, он пробыл на кафедре так недолго, что еще не знал, кто именно из ее членов близок с деканом или даже с ректором. Роль искушенного университетского политика его не привлекала, и он был даже убежден, что интриган из него получится самый посредственный, но какой смысл лягать самого себя, чтобы доказать себе же эту истину?

Вот почему Фостер согласился выслушать этого тихого историка, в котором тем не менее чувствовалось какое-то непонятное напряжение, вместо того чтобы тут же оборвать его и указать ему на дверь. Во всяком случае, именно таково было его первое намерение.

Он хорошо помнил Поттерли. Ведь это Поттерли подошел к нему на факультетском чаепитии (жуткая процедура!). Старичок посмотрел на него остекленевшими глазами, выдавил из себя две неловкие фразы, а потом как-то сразу опомнился и быстро отошел.

Тогда Фостера это позабавило, но теперь...

А вдруг Поттерли подошел к нему не случайно, вдруг он искал этого знакомства, а вернее, старался внушить ему мысль, что он, Поттерли, — чудак, эксцентричный старик, но вполне безобидный? И вот теперь пришел проверить лояльность Фостера, нащупать неортодоксальные убеждения. Разумеется, его проверяли, прежде чем назначить на это место. И все же...

Возможно, конечно, что Поттерли вполне искренен, возможно, он действительно не понимает, что делает. А может быть, превосходно понимает; может быть, он попросту опасный провокатор. Пробормотав: «Ну, что ж...», Фостер, чтобы выиграть время, вытащил пачку сигарет: сейчас он предложит сигарету Поттерли, даст ему огонька, закурит сам — и проделает все это очень медленно, чтобы выиграть время.

Однако Поттерли воскликнул:

— Ради бога, доктор Фостер, уберите сигареты!

— Простите, сэр, — с недоумением сказал Фостер.

— Что вы! Просить извинения следует мне. Но я не выношу запаха табачного дыма. Идиосинкразия. Еще раз прошу извинения.

Он заметно побледнел, и Фостер поспешил убрать сигареты.

Страдая от невозможности закурить, Фостер решил выйти из положения самым простым образом.

— Я очень польщен, что вы обратились ко мне за советом, профессор Поттерли, но дело в том, что я не занимаюсь нейтриникой. В этой области я не профессионал. С моей стороны неуместно даже высказать какое-либо мнение, и, откровенно говоря, я предпочел бы, чтобы вы не расспрашивали меня об этом.

Чопорное лицо историка стало суровым.

— Я не понял ваших слов о том, что вы не занимаетесь нейтриникой. Вы ведь пока ничем не занимаетесь. Вам еще не дали никакой дотации, не так ли?

— Это же мой первый семестр.

— Я знаю. Вероятно, вы даже еще не подали заявку на дотацию?

Фостер слегка улыбнулся. За три месяца, проведенных в университете, он так и не сумел привести свою заявку о дотации на научно-исследовательскую работу в мало-мальски приличный вид — ее нельзя было даже вручить для доработки профессиональному писателю при науке, не говоря уже о том, чтобы прямо подать в Комиссию по делам науки.

(К счастью, заведующий его кафедрой отнесся к этому вполне терпимо. «Не торопитесь, Фостер, — сказал он, — поразмыслите над темой, убедитесь, что хорошо знаете свой путь и то, куда он приведет. Ведь едва вы получите дотацию, как тем самым официально закрепите за собой область вашей специализации, и, на радость или на горе, не расстанетесь с ней до конца вашей академической карьеры». Этот совет был достаточно банален, однако банальность нередко обладает достоинством истины, и Фостеру это было известно.)

— По образованию и по склонности, доктор Поттерли, я гипероптик с уклоном в малую гравитику. Так я охарактеризовал себя, когда подавал заявление на факультет. Официально это пока еще не моя область специализации, но именно ее я собираюсь выбрать. Только ее! А нейтриникой я вообще не занимался.

— Почему? — немедленно спросил Поттерли.

Фостер с недоумением посмотрел на него. Такие бесцеремонные расспросы о чужом профессиональном статусе, естественно, вызывали раздражение. И он ответил уже менее любезным тоном:

— Там, где я учился, курса нейтриники не читали.

— Бог мой, где же вы учились?

— В Массачусетском технологическом институте, — невозмутимо ответил Фостер.

— И там не преподают нейтринику?

— Нет. — Фостер почувствовал, что краснеет, и начал оправдываться: — Это же очень узкая тема, не имеющая особого значения. Хроноскопия, пожалуй, обладает некоторой ценностью, но другого практического применения у нейтриники нет, а сама по себе хроноскопия — это тупик.

Историк бросил на него возбужденный взгляд.

— Скажите мне только одно: вы можете назвать специалиста по нейтринике?

— Нет, не могу, — грубо ответил Фостер.

— Ну, в таком случае вы, может быть, знаете учебное заведение, где преподают нейтринику?

— Нет, не знаю.

Поттерли улыбнулся кривой невеселой улыбкой.

Фостеру эта улыбка не понравилась, она показалась ему оскорбительной, и он настолько рассердился, что даже сказал:

— Позволю себе заметить, сэр, что вы переступаете границы.

— Что?

— Я говорю, что вам, историку, интересоваться какой-либо областью физики, интересоваться профессионально, — это... — он умолк, не решаясь все-таки произнести последнее слово вслух.

— Неэтично?

— Вот именно, профессор Поттерли.

— Меня толкают на это результаты моих исследований, — сказал Поттерли напряженным шепотом.

— В таком случае вам следует обратиться в Комиссию по делам науки. Если Комиссия разрешит...

— Я уже обращался туда, но безрезультатно.

— Тогда вы, разумеется, должны прекратить эти исследования.

Фостер чувствовал, что говорит, как самодовольный педант, гордящийся своей добропорядочностью, но не мог же он допустить, чтобы этот человек спровоцировал его на проявление интеллектуальной анархии! Он ведь только начинает свою научную карьеру и не имеет права рисковать по-глупому.

Но, очевидно, его слова задели Поттерли. Без всякого предупреждения историк разразился бурей слов, каждое из которых свидетельствовало о полной безответственности.

— Ученые, — сказал он, — могут считаться свободными только в том случае, если они свободно следуют своему свободному любопытству. Наука, — сказал он, — силой загнанная в заранее определенную колею теми, в чьих руках сосредоточены деньги и власть, становится рабской и неминуемо загнивает. Никто, — сказал он, — не имеет права распоряжаться интеллектуальными интересами других.

Фостер слушал его с большим недоверием. Ничего нового в этом потоке слов для него не было: студенты любили шокировать своих преподавателей подобными рассуждениями, да и он сам раза два позволил себе поразвлечься таким способом. Вообще каждый человек, изучавший историю науки, прекрасно знал, что в старину многие придерживались подобных взглядов. И все же Фостеру казалось странным, почти противоестественным, что современный ученый может проповедовать столь дикую чепуху! Никому бы и в голову не пришло организовать производственный процесс так, чтобы каждый рабочий занимался чем хотел и когда хотел, и никто не осмелится повести корабль, руководствуясь противоречивыми мнениями каждого отдельного члена команды. Все считают бесспорным, что и на заводе, и на корабле должно существовать какое-то одно центральное руководство. Так почему же то, что идет на пользу заводу и кораблю, вдруг может оказаться вредным для науки?

Можно, конечно, возразить, что человеческий интеллект обладает качественным отличием от корабля или завода, однако история научно-исследовательских изысканий доказывала обратное.

Быть может, в дни, когда наука была юной и вся или почти вся совокупность человеческих знаний оказывалась доступной индивидуальному человеческому уму, — быть может, в те дни она и не нуждалась в руководстве. Слепое блуждание по обширнейшим областям неведомого порой случайно приводило к удивительным открытиям.

Однако по мере накопления знаний приходилось изучать и суммировать все больше и больше уже известных фактов, для того чтобы путешествие в неведомое оказалось плодотворным. Ученым пришлось специализироваться. Исследователь уже нуждался в услугах библиотеки, которую сам собрать не мог, а также в приборах, которые сам купить был не в состоянии. Индивидуальный исследователь все больше и больше уступал место группе исследователей, а потом и научно-исследовательскому институту.

Фонды, необходимые для научных исследований, с каждым годом увеличивались, а приборы и инструменты становились все более многочисленными. Где сейчас найдется на Земле настолько захудалый колледж, что в нем не окажется хотя бы одного ядерного микрореактора или хотя бы одной трехступенчатой счетно-вычислительной машины?

Субсидирование научных исследований оказалось не по плечу отдельным частным лицам уже много веков назад. К 1940 году только государство, ведущие отрасли промышленности и наиболее крупные университеты и научные центры имели возможность выделять достаточные средства на научную работу в широких масштабах.

К 1960 году даже крупнейшие университеты уже полностью существовали лишь на государственные дотации, а научные центры держались только на налоговых льготах и средствах, собиравшихся по подписке. К 2000 году промышленные объединения стали частью всемирного правительства, и с тех пор финансирование научно-исследовательской работы, а значит, и общее руководство ею, естественно, сосредоточились в руках специального государственного органа.

Все сложилось само собой и очень удачно. Каждая отрасль науки была точно приспособлена к нуждам общества, а работы, проводившиеся в различных ее областях, умело координировались. Материальный прогресс, которым была ознаменована последняя половина века, достаточно убедительно свидетельствовал о том, что наука отнюдь не загнивает.

Фостер попытался изложить хоть малую часть этих соображений своему собеседнику, но Поттерли нетерпеливо перебил его:

— Вы, как попугай, повторяете измышления официальной пропаганды. У вас же под самым носом пример, начисто опровергающий официальную точку зрения. Вы верите мне?

— Откровенно говоря, нет.

— Ну, а почему же вы утверждаете, что обзор времени — это тупик? Почему нейтриника не имеет никакого значения? Вы это утверждаете. Вы утверждаете это категорически. А ведь вы ее не изучали. По вашим же словам, вы не имеете о ней ни малейшего представления. Ее даже не преподавали в вашем учебном заведении...

— Но разве это не является прямым доказательством ее бесполезности?

— А, понимаю! Ее не преподают, потому что она бесполезна. А бесполезна она потому, что ее не преподают. Вам нравится такая логика?

Фостер растерялся.

— Но так говорится в книгах...

— Вот именно. В книгах говорится, что нейтриника не имеет никакого значения. Ваши профессора говорят вам это, почерпнув свои сведения из книг. А в книгах это утверждается потому, что их пишут профессора. Но кто утверждал это, опираясь на собственные знания и опыт? Кто ведет исследовательскую работу в этой области? Вам это известно?

— По-моему, этот спор бесплоден, профессор Поттерли, — сказал Фостер. — А мне необходимо закончить работу...

— Еще минутку! Я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь. Как она вам покажется? Я утверждаю, что правительство активно препятствует работам в области нейтриники и хроноскопии. Оно препятствует практическому применению хроноскопии.

— Не может быть!

— Почему же? Это вполне в его силах. То самое централизованное руководство наукой, о котором вы говорили. Если правительство отказывает в фондах какой-либо отрасли науки, эта отрасль гибнет. Так оно уничтожило нейтринику. Оно имело возможность это сделать, и оно это сделало.

— Но зачем?

— Не знаю. И хочу, чтобы вы это выяснили. Я бы и сам попробовал, но у меня нет специальных знаний. Я пришел к вам потому, что вы молоды и только что завершили свое образование. Неужели артерии вашего интеллекта уже поддались склерозу? Неужели в вас не осталось ни любознательности, ни любопытства? Неужели вам не хочется просто знать? Находить ответы на загадки?

Говоря это, историк впивался взглядом в лицо Фостера. Их носы почти соприкасались, но Фостер до того растерялся, что даже не догадался отступить на шаг.

Ему, разумеется, следовало бы попросту указать Поттерли на дверь. Или даже самому вышвырнуть его.

Удерживало его отнюдь не уважение к возрасту и положению историка. И, уж конечно, Поттерли его ни в чем не убедил. Нет, в нем вдруг заговорила былая студенческая гордость.

В самом деле, почему в МТИ не читался курс нейтриники? И, кстати, насколько он помнил, в институтской библиотеке не было ни единой книги по нейтринике. Во всяком случае, он ни разу не видел там ничего подобного.

Фостер невольно задумался.

И это его погубило.

Кэролайн Поттерли когда-то была очень привлекательна. И даже теперь в отдельных случаях — на званых обедах, например, или на университетских приемах — ей удавалось отчаянным усилием воли возродить частицу этой привлекательности.

В обычной же обстановке она «обмякала». Именно это слово она употребляла, когда ее охватывало отвращение к себе. С возрастом она располнела, но не только этим объяснялась ее дряблость. Казалось, будто ее мускулы совсем расслабли, так что она еле волочила ноги, когда шла, под глазами набухли мешки, а щеки обвисали тяжелыми складками. Даже ее седеющие волосы казались не просто прямыми, но бесконечно усталыми. Они не вились как будто только потому, что тупо подчинились силе земного тяготения.

Кэролайн Поттерли поглядела в зеркало и решила, что сегодня она выглядит особенно скверно, — и ей не нужно было догадываться о причине.

Все тот же сон про Лорель. Такой странный — Лорель вдруг стала взрослой. С тех пор Кэролайн не находила себе места. И все-таки напрасно она рассказала об этом Арнольду. Он ничего не сказал — он давно уже ничего не говорит в подобных случаях, — но все-таки это дурно на него повлияло. Несколько дней после ее рассказа он был особенно сдержан. Возможно, он действительно готовился к этому важному разговору с высокопоставленным чиновником (он все время твердил, что не ждет от их беседы ничего хорошего), но возможно также, что все дело было в ее сне.

Уж лучше бы он, как раньше, резко прикрикнул на нее: «Перестань думать о прошлом, Кэролайн! Разговорами ее не вернешь, да и сны помогут не больше».

Им обоим было тяжело тогда. Невыносимо тяжело. Ее постоянно терзало ощущение неискупимой вины: в тот вечер ее не было дома! Если бы она не ушла, если бы она не отправилась за совершенно ненужными покупками, их было бы тогда двое. И вдвоем они спасли бы Лорель.

А бедному Арнольду это не удалось. Он сделал все, что мог, и чуть было сам не погиб. Из горящего дома он выбежал, шатаясь, обнаженный, задыхающийся, полуослепший от жара и дыма — с мертвой Лорель на руках.

И с тех пор длится этот кошмар, никогда до конца не рассеиваясь.

Арнольд постепенно замкнулся в себе. Он говорил теперь тихим голосом, держался мягко и спокойно — и сквозь эту оболочку ничто не вырывалось наружу, ни одной вспышки молнии. Он стал педантичным и поборол свои дурные привычки: бросил курить и перестал ругаться в минуты волнения. Он добился дотации на составление новой истории Карфагена и все подчинил этой цели.

Сначала она пыталась помогать ему: подбирала литературу, перепечатывала его заметки, микрофильмировала их. А потом вдруг все оборвалось.

Как-то вечером она внезапно вскочила из-за письменного стола и едва успела добежать, до ванной, как у нее началась мучительная рвота. Муж бросился за ней, растерянный и перепуганный.

— Кэролайн, что с тобой?

Он дал ей выпить коньяку, и она постепенно пришла в себя.

— Это правда? То, что они делали?

— Кто?

— Карфагеняне.

Он с недоумением посмотрел на нее, и она кое-как, обиняком, попыталась объяснить ему, в чем дело. Говорить об этом прямо у нее не было сил.

Карфагеняне, по-видимому, поклонялись Молоху — медному, полому внутри идолу, в животе которого была устроена печь. Когда городу грозила опасность, перед идолом собирались жрецы и народ, и после надлежащих церемоний и песнопений опытные руки умело швыряли в печь живых младенцев.

Перед жертвоприношением им давали сласти, чтобы действенность его не ослабела из-за испуганных воплей, оскорбляющих слух бога. Затем раздавался грохот барабанов, заглушавший предсмертные крики детей, — на это требовалось несколько секунд. При церемонии присутствовали родители, которым было положено радоваться: ведь такая жертва угодна богам...

Арнольд Поттерли угрюмо нахмурился. Все это гнуснейшая ложь, сказал он, выдуманная врагами Карфагена. Ему следовало бы предупредить ее заранее. История знает немало примеров такой пропагандистской лжи. Греки утверждали, будто древние евреи в своей святая святых поклонялись ослиной голове. Римляне говорили, будто первые христиане были человеконенавистниками и приносили в катакомбах в жертву детей язычников.

— Так, значит, они этого не делали? — спросила Кэролайн.

— Я убежден, что нет. Хотя у первобытных финикийцев и могло быть что-нибудь подобное. Человеческие жертвоприношения не редкость в первобытных культурах. Но культуру Карфагена в дни его расцвета никак нельзя назвать первобытной. Человеческие жертвоприношения часто перерождаются в определенные символические ритуалы, вроде обрезания. Греки и римляне по невежеству или по злобе могли истолковать символическую карфагенскую церемонию как подлинное жертвоприношение.

— Ты в этом уверен?

— Пока еще нет, Кэролайн. Но когда у меня накопится достаточно материала, я попрошу разрешения применить хроноскопию, и это даст возможность разрешить вопрос раз и навсегда.

— Хроноскопию?

— Обзор времени. Можно будет настроиться на древний Карфаген в период серьезного национального кризиса, например на 202 год до нашей эры, год высадки Сципиона Африканского, и посмотреть собственными глазами, что происходило. И ты увидишь, что я был прав.

Он ласково погладил ее по руке и ободряюще улыбнулся, но ей вот уже две недели каждую ночь снилась Лорель, и она больше не помогала мужу в его работе над историей Карфагена. И он не обращался к ней за помощью.

А теперь она собиралась с силами, готовясь к его возвращению. Он позвонил ей днем, как только вернулся в город, сказал, что видел главу отдела и что все кончилось, как он и ожидал. Значит — неудачей... И все же в его голосе не проскользнула так много говорящая ей нота отчаяния, а его лицо на телеэкране казалось совсем спокойным. Ему нужно побывать еще в одном месте, объяснил он.

Значит, Арнольд вернется домой поздно. Но это не имело ни малейшего значения. Оба они не придерживались определенных часов еды и были совершенно равнодушны к тому, когда именно банки извлекались из морозильника, и даже — какие именно банки, и когда приводился в действие саморазогреватель.

Однако когда Поттерли вернулся домой, Кэролайн невольно удивилась. Вел он себя как будто совершенно нормально: поцеловал ее и улыбнулся, снял шляпу и спросил, не случилось ли чего-нибудь за время его отсутствия. Все было почти так же, как всегда. Почти.

Однако Кэролайн научилась подмечать мелочи, а он выполнял привычный ритуал с какой-то торопливостью. И этого оказалось достаточно для ее тренированного глаза: Арнольд был чем-то взволнован.

— Что произошло? — спросила она.

Поттерли сказал:

— Послезавтра у нас к обеду будет гость, Кэролайн. Ты не против?

— Не-ет. Кто-нибудь из знакомых?

— Ты его не знаешь. Молодой преподаватель. Он тут недавно. Я с ним разговаривал сегодня.

Внезапно он повернулся к жене, подхватил ее за локти и несколько секунд продержал так, а потом вдруг смущенно отпустил, словно стыдясь проявления своих чувств.

— С каким трудом я пробился сквозь его скорлупу, — сказал он. — Подумать только! Ужасно, ужасно, как все мы склонились под ярмо и с какой нежностью относимся к собственной сбруе.

Миссис Поттерли не совсем поняла, что он имел в в виду, но она не зря в течение года наблюдала, как под его спокойствием нарастал бунт, как мало-помалу он начинал все смелее критиковать правительство. И она сказала:

— Надеюсь, ты был с ним осмотрителен?

— Как так — осмотрителен? Он обещал заняться для меня нейтриникой.

«Нейтриника» была для миссис Поттерли всего лишь звонкой бессмыслицей, однако она не сомневалась, что к истории это, во всяком случае, никакого касательства не имеет.

— Арнольд, — тихо произнесла она. — Зачем ты это делаешь? Ты лишишься своего места. Это же...

— Это же интеллектуальный анархизм, дорогая моя, — перебил он. — Вот выражение, которое ты искала. Прекрасно, значит, я анархист. Если государство не позволяет мне продолжать мои исследования, я продолжу их на собственный страх и риск. А когда я проложу путь, за мной последуют другие... А если и не последуют, какая разница? Карфаген — вот что важно! И расширение человеческих познаний, а не ты и не я.

— Но ты же не знаешь этого молодого человека! Что, если он агент комиссара по делам науки?

— Вряд ли. И я готов рискнуть. — Сжав правую руку в кулак, Поттерли легонько потер им левую ладонь. — Он теперь на моей стороне. В этом я уверен. Хочет он того или не хочет, но это так. Я умею распознавать интеллектуальное любопытство в глазах, в лице, в поведении, а это смертельное заболевание для прирученного ученого. Даже в наше время выбить такое любопытство из индивида оказывается не так-то просто, а молодежь особенно легко заражается... И почему, черт возьми, мы должны перед чем-то останавливаться? Нет, мы построим собственный хроноскоп, и пусть государство отправляется к...

Он внезапно умолк, покачал головой и отвернулся.

— Будем надеяться, что все кончится хорошо, — сказала миссис Поттерли, в беспомощном ужасе чувствуя, что все кончится очень плохо и придется забыть о дальнейшей карьере мужа и об обеспеченной старости.

Только она из них всех томилась предчувствием беды. И, конечно, совсем не той беды.

Джонас Фостер явился в дом Поттерли, расположенный за пределами университетского городка, с опозданием на полчаса. До самого конца он не был уверен, что пойдет. Затем в последний момент он почувствовал, что не может нарушить правила вежливости, не явившись на обед, как обещал, и даже не предупредив хозяев заранее. А кроме того, его разбирало любопытство.

Обед тянулся бесконечно. Фостер ел без всякого аппетита. Миссис Поттерли была рассеянна и молчалива — она только однажды вышла из своего транса, чтобы спросить, женат ли он, и, узнав, что нет, неодобрительно хмыкнула. Профессор Поттерли задавал ему нейтральные вопросы о его академической карьере и чопорно кивал головой.

Трудно было придумать что-нибудь более пресное, тягучее и нудное.

Фостер подумал:

«Он кажется таким безвредным...»

Последние два дня Фостер изучал труды профессора Поттерли. Разумеется, между делом, почти исподтишка. Ему не слишком-то хотелось показываться в Библиотеке социальных наук. Правда, история принадлежала к числу смежных дисциплин, а широкая публика нередко развлекалась чтением исторических трудов — иногда даже в образовательных целях.

Однако физик — это все-таки не «широкая публика». Стоит Фостеру заняться чтением исторической литературы, и его сочтут чудаком — это ясно, как закон относительности, а там заведующий кафедрой, пожалуй, задумается, насколько его новый преподаватель «подходит для них».

Вот почему Фостер действовал крайне осторожно. Он сидел в самых уединенных нишах, а входя и выходя, старался низко опускать голову.

Он выяснил, что профессор Поттерли написал три книги и несколько десятков статей о государствах древнего Средиземноморья, причем все статьи последних лет (напечатанные в «Историческом вестнике») были посвящены доримскому Карфагену и написаны в весьма сочувственном тоне.

Это, во всяком случае, подтверждало объяснения историка, и подозрения Фостера несколько рассеялись... И все же он чувствовал, что правильнее и благоразумнее всего было бы отказаться наотрез с самого начала.

Ученому вредно излишнее любопытство, думал он, сердясь на себя. Оно чревато опасностями.

Когда обед закончился, Поттерли провел гостя к себе в кабинет, и Фостер в изумлении остановился на пороге: стены были буквально скрыты книгами.

И не только микропленочными! Разумеется, здесь были и такие, но их число значительно уступало печатным книгам — книгам, напечатанным на бумаге! Просто не верилось, что существует столько старинных книг, еще годных для употребления.

И Фостеру стало не по себе. С какой стати человеку вдруг понадобилось держать дома столько книг? Ведь все они наверняка есть в университетской библиотеке или, на худой конец, в Библиотеке конгресса — нужно только побеспокоиться и заказать микрофильм.

Домашняя библиотека отдавала чем-то недозволенным. Она была пропитана духом интеллектуальной анархии. Но, как ни странно, именно это последнее соображение успокоило Фостера. Уж лучше пусть Поттерли будет подлинным анархистом, чем провокатором.

И с этой минуты время помчалось на всех парах, принося с собой много удивительного.

— Видите ли, — начал Поттерли ясным, невозмутимым голосом, — я попробовал отыскать кого-нибудь, кто пользовался бы в своей работе хроноскопией. Разумеется, задавать такой вопрос прямо я не мог — это значило бы предпринять самочинные изыскания.

— Конечно, — сухо заметил Фостер, удивляясь про себя, что подобное пустячное соображение могло остановить его собеседника.

— Я наводил справки косвенно...

И он их наводил! Фостер был потрясен объемом переписки, посвященной мелким спорным вопросам культуры древнего Средиземноморья, в процессе которой профессору Поттерли удавалось добиться от своих корреспондентов случайных упоминаний, вроде: «Разумеется, ни разу не воспользовавшись хроноскопией...» или «Ожидая ответа на мою просьбу применить хроноскоп, на что в настоящий момент вряд ли можно рассчитывать...»

— И я адресовал эти вопросы отнюдь не наугад, — объяснил Поттерли. — Институт хроноскопии издает ежемесячный бюллетень, в котором печатаются исторические сведения, полученные путем обзора времени. Обычно бюллетень включает одно-два таких сообщения. Меня сразу поразила тривиальность сведений, добытых таким образом, их незначительность. Так почему же подобные изыскания считаются первоочередными, а мое исследование нет? Тогда я начал писать тем, кто, скорее всего, мог заниматься работами, упоминавшимися в бюллетене. И, как я вам только что показал, никто из этих ученых не пользовался хроноскопом. Ну, а теперь давайте рассмотрим все по пунктам...

Наконец Фостер, у которого голова шла кругом от множества свидетельств, трудолюбиво собранных Поттерли, растерянно спросил:

— Но для чего же все это делается?

— Не знаю, — ответил Поттерли. — Но у меня есть своя теория. Когда Стербинский изобрел хроноскоп, — как видите, это мне известно, — о его изобретении много писали. Затем правительство конфисковало аппарат и решило прекратить дальнейшие исследования в этой области и воспрепятствовать дальнейшему использованию уже готового хроноскопа. Но в этом случае людям непременно захотелось бы узнать, почему он не используется. Любопытство — ужасный порок, доктор Фостер.

Физик внутренне согласился с ним.

— Так вообразите, — продолжал Поттерли, — насколько умнее было бы сделать вид, будто хроноскоп используется. Прибор потерял бы всякий элемент таинственности и перестал бы служить предлогом для законного любопытства или приманкой для любопытства противозаконного.

— Но вы-то полюбопытствовали, — заметил Фостер.

Поттерли, казалось, смутился.

— Со мной дело обстоит иначе, — сердито сказал он. — Моя работа действительно важна, а их проволочки и отказы граничат с издевательством, и я не намерен с этим мириться.

«Почти мания преследования, помимо всего прочего», — уныло подумал Фостер.

И тем не менее историк, страдал он манией преследования или нет, сумел кое-что обнаружить: Фостер не мог уже больше отрицать, что с нейтриникой дело обстоит действительно как-то странно.

Но чего добивается Поттерли? Это по-прежнему тревожило Фостера. Если Поттерли затеял все это не для того, чтобы проверить этические принципы Фостера, так чего же он все-таки добивается?

Фостер старался рассуждать логично. Если интеллектуальный анархист, страдающий легкой формой мании преследования, хочет воспользоваться хроноскопом и твердо верит, что власти предержащие сознательно ему препятствуют, что он предпримет?

«Будь я на его месте, — подумал он, — что сделал бы я?»

Он сказал размеренным голосом:

— Но, может быть, хроноскопа вообще не существует.

Поттерли вздрогнул. Его неизменное спокойствие чуть не разлетелось вдребезги. На мгновение Фостер уловил в его взгляде нечто менее всего похожее на спокойствие.

Однако историк все же не утратил власти над собой. Он сказал:

— О нет! Хроноскоп, несомненно, должен существовать.

— Но почему? Вы видели его? А я? Может быть, именно этим все и объясняется? Может быть, они вовсе не прячут имеющийся у них хроноскоп, а его у них вовсе нет?

— Но ведь Стербинский действительно жил! Он же построил хроноскоп! Это факты.

— Так говорится в книгах, — холодно возразил Фостер.

— Послушайте! — Поттерли забылся настолько, что схватил Фостера за рукав. — Мне необходим хроноскоп. Я должен его получить. И не говорите мне, что его вообще нет. Нам просто нужно разобраться в нейтринике настолько, чтобы...

Поттерли вдруг умолк.

Фостер выдернул свой рукав из его пальцев. Он знал, как собирался историк докончить эту фразу, и докончил ее сам:

— ...чтобы самим его построить?

Поттерли насупился, словно ему не хотелось говорить об этом прямо, но все же отозвался:

— А почему бы и нет?

— Потому что об этом не может быть и речи, — отрезал Фостер. — Если то, что я читал, соответствует истине, значит, Стербинскому потребовалось двадцать лет, чтобы построить свой аппарат, и двадцать миллионов в разного рода дотациях. И вы полагаете, что нам с вами удастся проделать то же нелегально? Предположим даже, у нас было бы время (а его у нас нет) и я мог бы почерпнуть достаточно сведений из книг (в чем я сомневаюсь), — где мы раздобыли бы оборудование и деньги? Ведь хроноскоп, как утверждают, занимает пятиэтажное здание! Поймите же это наконец!

— Так вы отказываетесь помочь мне?

— Ну, вот что: у меня есть возможность кое-что выяснить...

— Какая возможность? — тотчас осведомился Поттерли.

— Неважно. Но мне, может быть, удастся узнать достаточно, чтобы сказать вам, правда ли, что правительство сознательно не допускает работы с хроноскопом. Я могу либо подтвердить собранные вами данные, либо доказать их ошибочность. Не берусь судить, что это вам даст как в том, так и в другом случае, но это все, что я могу сделать. Это мой предел.

И вот наконец Поттерли проводил своего гостя. Он досадовал на самого себя. Проявить такую неосторожность — позволить мальчишке догадаться, что он думает именно о собственном хроноскопе! Это было преждевременно.

Но как смел этот молокосос предположить, что хроноскопа вовсе не существует?

Он должен существовать! Должен! Какой же смысл отрицать это?

И почему нельзя построить еще один? За пятьдесят лет, истекших со смерти Стербинского, наука ушла далеко вперед. Нужно только узнать основные принципы.

И пусть этим займется Фостер. Пусть он думает, что ограничится какими-то крохами. Если он не увлечется, то даже этот шаг явится достаточно серьезным проступком, который вынудит его продолжать. В крайнем случае придется прибегнуть к шантажу.

Поттерли помахал уходящему гостю и посмотрел на небо. Начинал накрапывать дождь.

Да-да! Пусть шантаж, если другого способа не будет, но он добьется своего!

Фостер вел машину по угрюмой городской окраине, не замечая дождя.

Конечно, он дурак, но остановиться теперь он уже не в состоянии. Ему необходимо узнать, в чем же тут дело. Проклятое любопытство, ругал он себя. И все-таки он должен узнать!

Однако в своих розысках он ограничится дядей Ральфом. И Фостер дал себе страшную клятву, что больше ничего предпринимать не станет. Таким образом, против него нельзя будет найти явных улик. Дядя Ральф — сама осмотрительность.

В глубине души он немного стыдился дяди Ральфа. И не сказал про него Поттерли отчасти из осторожности, а отчасти и потому, что опасался увидеть поднятые брови и неизбежную ироническую улыбочку. Профессиональные писатели при науке считались людьми не слишком солидными, достойными лишь снисходительного презрения, хотя никто не отрицал пользы их занятия. Тот факт, что в среднем они зарабатывали больше настоящих ученых, разумеется, ничуть не улучшал положения.

И все-таки в определенных ситуациях иметь такого родственника весьма полезно. Ведь писатели не получали настоящего образования и не были обязаны специализироваться. В результате хороший писатель при науке был сведущ практически во всех вопросах... А дядя Ральф, подумал Фостер, безусловно, принадлежит к одним из лучших.

Ральф Ниммо не имел специализированного университетского диплома и гордился этим.

«Специализированный диплом, — объяснил он как-то Джонасу Фостеру, в дни, когда оба они были значительно моложе, — это первый шаг по пути к гибели. Человеку жалко не воспользоваться полученной привилегией, и вот он уже готовит магистерскую, а затем и докторскую диссертацию. И в конце концов ты оказываешься глубочайшим невеждой во всех областях знания, кроме крохотного кусочка выеденного яйца.

С другой стороны, если ты будешь оберегать свой ум и не загромождать его единообразными сведениями, пока не достигнешь зрелости, а вместо этого тренировать его в логическом мышлении и снабжать широкими представлениями, то ты получишь в свое распоряжение могучее орудие и сможешь стать писателем при науке».

Первое задание Ниммо выполнил в двадцатипятилетнем возрасте, всего лишь через три месяца после того, как получил право на самостоятельную работу. Ему была поручена пухлая рукопись, язык которой даже самый квалифицированный читатель мог бы постигнуть только после тщательнейшего изучения и вдохновенных догадок. Ниммо разъял ее на составные части и воссоздал заново (после пяти длительных и выматывающих душу бесед с авторами — биофизиками по специальности), придав ее языку емкость и точность, а также до блеска отполировав стиль.

«И что тут такого? — снисходительно спрашивал он племянника, который парировал его нападки на специализацию насмешками в адрес тех, кто предпочитает цепляться за бахрому науки. — Бахрома тоже важна. Твои ученые писать не умеют. И не обязаны уметь. Никто же не требует, чтобы они были шахматистами-гроссмейстерами или скрипачами-виртуозами, так с какой стати требовать, чтобы они владели, даром слова? Почему бы не предоставить эту область специалистам? Бог мой, Джонас! Почитай, что писали твои собратья сто лет назад. Не обращай внимания на то, что научная сторона устарела, а некоторые выражения больше не употребляются. Просто почитай и попробуй понять, о чем там говорится. И ты убедишься, что это безнадежно дилетантское зубодробительное крошево. Целые страницы печатались зря, и многие статьи поражают своей ненужностью или неудобопонятностью, а то и тем и другим».

«Но вы же не добьетесь признания, дядя Ральф, — спорил юный Фостер (на пороге своей университетской карьеры он был полон самых радужных надежд и иллюзий). — А ведь из вас мог бы выйти потрясающий ученый!»

«Ну, признания мне более чем достаточно, — ответил Ниммо, — можешь мне поверить. Конечно, какой-нибудь биохимик или стратометеоролог смотрят на меня сверху вниз, но зато прекрасно мне платят. Знаешь, что происходит, когда какой-нибудь ведущий химик узнает, что комиссия урезала его ежегодную дотацию на обработку материала? Да он будет драться за то, чтобы иметь средства платить мне или кому-нибудь вроде меня куда яростнее, чем добиваться нового ионографа».

Он ухмыльнулся, и Фостер улыбнулся ему в ответ. По правде говоря, он гордился своим круглолицым толстеющим дядюшкой с короткими толстыми пальцами и оголенной макушкой, которую тот, движимый тщеславием, тщетно старался скрыть под жиденькими прядями волос, зачесанных с висков. И то же тщеславие заставляло его одеваться так, что он вечно вызывал мысль о неплотно уложенном стоге, так как неряшество было его фирменной маркой. Да, Фостер, хоть и стыдился своего дяди, очень гордился им.

Но на этот раз, войдя в захламленную квартиру дядюшки, Фостер менее всего был склонен обмениваться улыбками. С того времени он постарел на девять лет, как, впрочем, и дядя Ральф. И в течение этих девяти лет дядя Ральф продолжал полировать статьи и книги, посвященные самым различным вопросам науки, и каждая из них оставила что-то в его обширной памяти.

Ниммо с наслаждением ел виноград без косточек, бросая в рот ягоду за ягодой. Он тут же кинул гроздь Фостеру, который в последнюю секунду успел-таки ее поймать, а затем наклонился и принялся подбирать с пола упавшие виноградинки.

— Пусть их валяются. Не хлопочи, — равнодушно заметил Ниммо. — Раз в неделю кто-то является сюда для уборки. Что случилось? Не получается заявка на дотацию?

— У меня до этого никак не доходят руки.

— Да? Поторопись, мой милый. Может быть, ты ждешь, чтобы за нее взялся я?

— Вы мне не по карману, дядя Ральф.

— Ну, брось! Это же дело семейное. Предоставь мне исключительное право на популярное издание, и мы обойдемся без денег.

Фостер кивнул.

— Идет! Если, конечно, вы не шутите.

— Договорились.

Разумеется, в этом был известный риск, но Фостер достаточно хорошо знал, как высока квалификация Ниммо, и понимал, что сделка может оказаться выгодной. Умело сыграв на интересе широкой публики к первобытному человеку, или к новой хирургической методике, или к любой отрасли космонавтики, можно было весьма выгодно продать статью любому массовому издательству или студии.

Например, именно Ниммо написал рассчитанную на сугубо научные круги серию статей Брайса и сотрудников, которая детально освещала вопрос об особенностях структуры двух вирусов рака, причем потребовал за эти статьи предельно мизерную плату — всего полторы тысячи долларов при условии, что ему будет предоставлено исключительное право на популярные издания. Затем он обработал ту же тему, придав ей более драматическую форму, для стереовидения, и получил единовременно двадцать тысяч долларов плюс проценты с каждой передачи, которые продолжали поступать еще и теперь, пять лет спустя.

Фостер без обиняков приступил к делу:

— Что вы знаете о нейтринике, дядя Ральф?

— О нейтринике? — Ниммо изумленно вытаращил маленькие глазки. — С каких пор ты занимаешься нейтриникой? Мне почему-то казалось, что ты выбрал псевдогравитационную оптику.

— Правильно. А про нейтринику я просто навожу справки.

— Опасное занятие! Ты переходишь демаркационную линию. Это тебе известно?

— Ну, не думаю, чтобы вы сообщили в комиссию, что я интересуюсь чем-то посторонним.

— Может быть, и следует сообщить, пока ты еще не натворил серьезных бед. Любопытство — профессиональная болезнь ученых, нередко приводящая к роковому исходу. Я-то видел, как она протекает. Какой-нибудь ученый работает себе тихонько над своей проблемой, но вот любопытство уводит его далеко в сторону, и, глядишь, собственная работа уже настолько запущена, что на следующий год его дотация не возобновляется. Я мог бы назвать столько...

— Меня интересует только одно, — перебил Фостер. — Много ли материалов по нейтринике проходило через ваши руки за последнее время?

Ниммо откинулся на спинку кресла, задумчиво посасывая виноградину.

— Никаких. И не только за последнее время, но и вообще. Насколько я помню, мне ни разу не приходилось обрабатывать материалы, связанные с нейтриникой.

— Как же так? — Фостер искренне изумился. — Кому в таком случае их поручают?

— Право, не знаю, — задумчиво ответил Ниммо. — На наших ежегодных конференциях, насколько помнится, об этом никогда не говорилось. По-моему, в области нейтриники фундаментальных работ не ведется.

— А почему?

— Ну-ну, не рычи на меня. Я же ни в чем не виноват. Я бы сказал...

— Следовательно, вы твердо не знаете? — нетерпеливо перебил его Фостер.

— Ну-у-у... Я могу сказать тебе, что именно я знаю о нейтринике. Нейтриника — это наука об использовании движения нейтрино и связанных с этим сил...

— Ну, разумеется. А электроника — наука о применении движения электронов и связанных с этим сил, а псевдогравитика — наука о применении полей искусственной гравитации. Я пришел к вам не для этого. Больше вам ничего не известно?

— А кроме того, — невозмутимо докончил дядюшка, — нейтриника лежит в основе обзора времени. Но больше мне действительно ничего не известно.

Фостер откинулся на спинку стула и принялся с ожесточением массировать худую щеку. Он испытывал злость и разочарование. Сам того не сознавая, он пришел сюда в надежде, что Ниммо сообщит ему самые последние данные, укажет на наиболее интересные аспекты современной нейтриники, и он получит возможность вернуться к Поттерли и доказать историку, что тот ошибся, что его факты — чистейшее недоразумение, а выводы из них неверны.

И тогда он мог бы спокойно вернуться к своей работе.

Но теперь...

Он сердито убеждал себя: «Хорошо, пусть в этой области не ведется больших исследований. Это же еще не означает сознательной обструкции. А что, если нейтриника — бесплодная наука? Может быть, так оно и есть. Я же не знаю. И Поттерли не знает. Зачем расходовать интеллектуальные ресурсы человечества на погоню за пустотой? А возможно, работа засекречена по какой-то вполне законной причине. Может быть...»

Беда заключалась в том, что он хотел знать правду, и теперь уже не может махнуть на все рукой. Не может — и конец!

— Существует ли какое-нибудь пособие по нейтринике, дядя Ральф? Что-нибудь простое и ясное? Какой-нибудь элементарный курс?

Ниммо задумался, тяжко вздыхая, так что его толстые щеки задергались.

— Ты задаешь сумасшедшие вопросы. Единственное пособие, о котором я слышал, было написано Стербинским и еще кем-то. Сам я его не видел, но один раз мне попалось упоминание о нем... Да, да, Стербинский и Ламарр. Теперь я вспомнил.

— Тот самый Стербинский, который изобрел хроноскоп?

— По-моему, да. Значит, книга должна быть хорошей.

— Существует ли какое-нибудь переиздание?. Ведь Стербинский умер пятьдесят лет назад.

Ниммо только пожал плечами.

— Вы не могли бы узнать?

Несколько минут длилась тишина, и только кресло Ниммо ритмически поскрипывало — писатель беспокойно ерзал на сиденье. Затем он медленно произнес:

— Может быть, ты все-таки объяснишь мне, в чем дело?

— Не могу. Но вы мне поможете, дядя Ральф? Достанете экземпляр этой книги?

— Разумеется, все, что я знаю о псевдогравитике, я знаю от тебя и должен как-то доказать свою благодарность. Вот что: я помогу тебе, но с одним условием.

— С каким же?

Лицо писателя вдруг стало очень серьезным.

— С условием, что ты будешь осторожен, Джонас. Чем бы ты ни занимался, ясно одно — это не имеет никакого отношения к твоей работе. Не губи свою карьеру только потому, что тебя заинтересовала проблема, которая тебе не была поручена, которая тебя вообще не касается. Договорились?

Фостер кивнул, но он не слышал, что говорил ему дядя. Его мысль бешено работала.

Ровно через неделю кругленькая фигура Ральфа Ниммо осторожно проскользнула в двухкомнатную квартиру Джонаса Фостера в университетском городке.

— Я кое-что достал, — хриплым шепотом сказал писатель.

— Что? — Фостер сразу оживился.

— Экземпляр Стербинского и Ламарра. — И Ниммо извлек книгу из-под своего широкого пальто, вернее, показал ее уголок.

Фостер почти машинально оглянулся, проверяя, хорошо ли закрыта дверь и плотно ли занавешены окна, а затем протянул руку.

Футляр потрескался от старости, а когда Фостер извлек пленку, он увидел, что она выцвела и стала очень хрупкой.

— И это все? — довольно грубо спросил он.

— В таких случаях следует говорить спасибо, мой милый. — Ниммо, крякнув, опустился в кресло и извлек из кармана яблоко.

— Спасибо, спасибо. Только пленка такая старая...

— И тебе еще очень повезло, что ты можешь получить хотя бы такую. Я пробовал заказать микрокопию в Библиотеке конгресса. Ничего не получилось. Эта книга выдается только по особому разрешению.

— Как же вам удалось ее достать?

— Я ее украл. — Ниммо сочно захрустел яблоком. — Из нью-йоркской публички.

— Как?

— А очень просто. Как ты понимаешь, у меня есть доступ к полкам. Ну, я и улучил минуту, когда никто на меня не смотрел, перешагнул через барьер, отыскал ее и унес. Персонал там очень доверчив. Да и хватятся-то они пропажи разве что через несколько лет... Только ты уж лучше никому не показывай ее, племянничек.

Фостер смотрел на катушку с пленкой так, словно она могла сию минуту взорваться.

Ниммо бросил огрызок в пепельницу и вытащил второе яблоко.

— А знаешь, странно: ничего новее этого в нейтринике не появлялось. Ни единой монографии, ни единой статьи или хотя бы краткого отчета. Абсолютно ничего со времени изобретения хроноскопа.

— Угу, — рассеянно ответил Фостер.

Теперь Фостер по вечерам работал в подвале у Поттерли. Его собственная квартира в университетском городке была слишком опасна. И эта вечерняя работа настолько его захватила, что он совсем махнул рукой на свою заявку для получения дотации. Сначала это его тревожило, но вскоре он перестал даже тревожиться.

Первое время он просто вновь и вновь читал в аппарате пленку. Потом начал думать, и тогда случалось, что пленка, заложенная в карманный проектор, долгое время прокручивалась впустую.

Иногда к нему в подвал спускался Поттерли и долго сидел, внимательно глядя на него, словно ожидая, что мыслительные процессы овеществятся и он сможет зримо наблюдать весь их сложный ход. Он не мешал бы Фостеру, если бы только позволил ему курить и не говорил так много.

Правда, говоря сам, он не требовал ответа. Он, казалось, тихо произносил монолог и даже не ждал, что его будут слушать. Скорее всего, это было для него разрядкой.

Карфаген, вечно Карфаген!

Карфаген, Нью-Йорк древнего Средиземноморья. Карфаген, коммерческая империя и властелин морей. Карфаген, бывший всем тем, на что Сиракузы и Александрия только претендовали. Карфаген, оклеветанный своими врагами и не сказавший ни слова в свою защиту.

Рим нанес ему поражение и вытеснил его из Сицилии и Сардинии. Но Карфаген с лихвой возместил свои потери, покорив Испанию и взрастив Ганнибала, шестнадцать лет державшего Рим в страхе.

В конце концов Карфаген потерпел второе поражение, смирился с судьбой и кое-как наладил жизнь на жалких остатках былой территории — и так преуспел в этом, что завистливый Рим поспешил навязать ему третью войну. И тогда Карфаген, у которого не оставалось ничего, кроме упорства и рук его граждан, начал ковать оружие и два года отчаянно сопротивлялся Риму, пока наконец война не кончилась полным разрушением города, — и жители предпочитали бросаться в пламя, пожиравшее их дома, лишь бы не попасть в плен.

— Неужели люди стали бы так отчаянно защищать город и образ жизни, действительно настолько скверные, какими рисовали их античные писатели? Ни один римский полководец не мог сравниться с Ганнибалом, и его солдаты были абсолютно ему преданны. Даже самые ожесточенные враги хвалили Ганнибала. А ведь он был карфагенянином! Очень модно утверждать, будто он был нетипичным карфагенянином, неизмеримо превосходившим своих сограждан, бриллиантом, брошенным в мусорную кучу. Но почему же в таком случае он хранил столь нерушимую верность Карфагену до самой своей смерти после долголетнего изгнания? Ну, конечно, все эти россказни о Молохе...

Фостер не всегда прислушивался к бормотанию историка, но порой голос Поттерли все же проникал в его сознание, и страшный рассказ о принесении детей в жертву вызывал у него физическую тошноту.

Однако Поттерли продолжал с неколебимым убеждением:

— И все-таки это ложь. Утка, пущенная греками и римлянами свыше двух с половиной тысяч лет назад. У них у самих были рабы, казни на кресте, пытки и гладиаторские бои. Их никак не назовешь святыми. Эта басня про Молоха в более позднюю эпоху получила бы название военной пропаганды, беспардонной лжи. Я могу доказать, что это была ложь. Я могу доказать это, и богом клянусь, что докажу... Докажу... — И он увлеченно повторял и повторял это обещание.

Миссис Поттерли также спускалась в подвал, но гораздо реже, обычно по вторникам и четвергам, когда профессор читал лекции вечером и возвращался домой поздно.

Она тихонько сидела в углу, не произнося ни слова. Ее глаза ничего не выражали, лицо как-то все обвисало, и вид у нее был рассеянный и отсутствующий.

Когда она пришла в первый раз, Фостер неловко намекнул, что ей лучше было бы уйти.

— Я вам мешаю? — спросила она глухо.

— Нет, что вы, — раздраженно солгал Фостер. — Я только потому... потому... — И он не сумел закончить фразы.

Миссис Поттерли кивнула, словно принимая приглашение остаться. Затем она открыла рабочий мешочек, который принесла с собой, вынула моток витроновых полосок и принялась сплетать их с помощью пары изящно мелькающих тонких четырехгранных деполяризаторов, подсоединенных тонкими проволочками к батарейке, так что казалось, будто она держит в руке большого паука.

Как-то вечером она сказала негромко:

— Моя дочь Лорель — ваша ровесница.

Фостер вздрогнул — так неожиданно она заговорила. Он пробормотал:

— Я и не знал, что у вас есть дочь, миссис Поттерли.

— Она умерла много лет назад.

Ее умелые движения превращали витрон в рукав какой-то одежды — какой именно, Фостер еще не мог отгадать. Ему оставалось только глупо пробормотать:

— Я очень сожалею.

— Она мне часто снится, — со вздохом сказала миссис Поттерли и подняла на него рассеянные голубые глаза.

Фостер вздрогнул и отвел взгляд.

В следующий раз она спросила, осторожно отклеивая полоску витрона, прилипшую к ее платью:

— А что, собственно, это означает — обзор времени?

Ее слова нарушили чрезвычайно сложный ход мысли, и Фостер почти огрызнулся:

— Спросите у профессора Поттерли.

— Я пробовала. Да, да, пробовала. Но, по-моему, его раздражает моя непонятливость. И он почти все время называет это хроноскопией. Что, действительно можно видеть образы прошлого, как в стереовизоре? Или аппарат пробивает маленькие дырочки, как эта ваша счетная машинка?

Фостер с отвращением посмотрел на свою портативную счетную машинку. Работала она неплохо, но каждую операцию приходилось проводить вручную, и ответы выдавались в закодированном виде. Эх, если бы он мог воспользоваться университетскими машинами... Пустые мечты! И так уж, наверное, окружающие недоумевают, почему он теперь каждый вечер уносит свою машинку из кабинета домой. Он ответил:

— Я лично никогда не видел хроноскопа, но, кажется, он дает возможность видеть образы и слышать звуки.

— Можно услышать, как люди разговаривают?

— Кажется, да... — И, не выдержав, он продолжал в отчаянии: — Послушайте, миссис Поттерли, вам же здесь, должно быть, невероятно скучно! Я понимаю, вам неприятно бросать гостя в одиночестве, но, право же, миссис Поттерли, не считайте себя обязанной...

— Я и не считаю себя обязанной, — сказала она. — Я сижу здесь и жду.

— Ждете? Чего?

— Я подслушала, о чем вы говорили в тот первый вечер, — невозмутимо ответила она, — когда вы в первый раз разговаривали с Арнольдом. Я подслушивала у дверей.

— Да? — сказал он.

— Я знаю, что так поступать не следовало бы, но меня очень тревожил Арнольд. Я подозревала, что он намерен заняться чем-то, чем он не имеет права заниматься. И я хотела все узнать. А потом, когда я услышала... — Она умолкла и, наклонив голову, стала внимательно рассматривать нитроновое плетение.

— Услышали что, миссис Поттерли?

— Что вы не хотите строить хроноскоп.

— Конечно, не хочу.

— Я подумала, что вы, может быть, передумаете.

Фостер бросил на нее свирепый взгляд.

— Так, значит, вы приходите сюда, надеясь, что я построю хроноскоп, рассчитывая, что я его построю?

— Да, да, доктор Фостер. Я так хочу, чтобы вы его построили!

С ее лица словно упало мохнатое покрывало — оно вдруг приобрело мягкую четкость очертаний, щеки порозовели, глаза оживились, а голос почти зазвенел от волнения.

— Как это было бы чудесно! — шепнула она. — Вновь ожили бы люди из прошлого — фараоны, короли и... и просто люди. Я очень надеюсь, что вы построите хроноскоп, доктор Фостер. Очень...

Миссис Поттерли умолкла, словно не выдержав напряжения собственных слов, и даже не заметила, что витроновые полоски соскользнули с ее колен на пол. Она вскочила и бросилась вверх по лестнице, а Фостер следил за неуклюже движущейся фигурой в полной растерянности.

Теперь Фостер почти не спал по ночам, напряженно и мучительно думая. Это напоминало какое-то несварение мысли.

Его заявка на дотацию в конце концов отправилась к Ральфу Ниммо. Он больше на нее не рассчитывал и только подумал тупо: «Одобрения я не получу».

В таком случае не миновать скандала на кафедре и, возможно, в конце академического года его не утвердят в занимаемой должности.

Но Фостера это почти не трогало. Сейчас для него существовал нейтрино, нейтрино, только нейтрино! След частицы прихотливо извивался и уводил его все дальше по неведомым путям, неизвестным даже Стербинскому и Ламарру. Он позвонил Ниммо.

— Дядя Ральф, мне кое-что нужно. Я звоню не из городка.

Лицо Ниммо на экране, как всегда, излучало добродушие, но голос был отрывист.

— Я знаю, что тебе нужно: пройти курс по ясному формулированию собственных мыслей. Я совсем измотался, пытаясь привести твою заявку в божеский вид. Если ты звонишь из-за нее...

— Нет, не из-за нее, — нетерпеливо замотал головой Фостер. — Мне нужно вот что... — Он быстро нацарапал на листке бумаги несколько слов и поднес листок к приемнику.

Ниммо испустил короткий вопль.

— Ты что, думаешь, мои возможности ничем не ограничены?

— Это вы можете достать, дядя, можете!

Ниммо еще раз прочел список, беззвучно шевеля пухлыми губами и все больше хмурясь.

— И что получится, когда ты соберешь все это воедино? — спросил он.

Фостер только покачал головой.

— Что бы из этого ни получилось, исключительное право на популярное издание будет принадлежать вам, как всегда. Только, пожалуйста, пока больше меня ни о чем не расспрашивайте.

— Видишь ли, я не умею творить чудеса.

— Ну, а на этот раз сотворите! Обязательно! Вы же писатель, а не ученый. Вам не приходится ни перед кем отчитываться. У вас есть связи, друзья. Наверно, они согласятся на минутку отвернуться, чтобы ваш следующий публикационный срок мог сослужить им службу?

— Твоя вера, племянничек, меня умиляет. Я попытаюсь.

Попытка Ниммо увенчалась полным успехом. Как-то вечером, заняв у приятеля машину, он привез материалы и оборудование. Вместе с Фостером они втащили их в дом, громко пыхтя, как люди, не привыкшие к физическому труду.

Когда Ниммо ушел, в подвал спустился Поттерли и вполголоса спросил:

— Для чего все это?

Фостер откинул прядь со лба и принялся осторожно растирать ушибленную руку.

— Мне нужно провести несколько простых экспериментов, — ответил он.

— Правда? — Глаза историка вспыхнули от волнения.

Фостер почувствовал, что его безбожно эксплуатируют. Словно кто-то ухватил его за нос и повел по опасной тропинке, а он, хоть и ясно видел зиявшую впереди пропасть, продвигался охотно и решительно. И хуже всего было то, что его нос сжимали его же собственные пальцы!

И все это заварил Поттерли. А сейчас Поттерли стоит в дверях и торжествует. Но принудил себя идти по этой дорожке он сам.

Фостер сказал злобно:

— С этих пор, Поттерли, я хотел бы, чтобы сюда никто не входил. Я не могу работать, когда вы и ваша жена то и дело врываетесь сюда и мешаете мне.

Он подумал: «Пусть-ка обидится и выгонит меня отсюда. Пусть сам все и кончает».

Однако в глубине души он отлично понимал, что с его изгнанием не кончится ровно ничего.

Но до этого не дошло. Поттерли, казалось, вовсе не обиделся. Кроткое выражение его лица не изменилось.

— Ну, конечно, доктор Фостер, конечно, вам никто не будет мешать.

Фостер угрюмо посмотрел ему вслед. Значит, он и дальше пойдет по тропе, самым гнусным образом радуясь этому и ненавидя себя за свою радость.

Теперь он ночевал у Поттерли на раскладушке все в том же подвале и проводил там все свое свободное время.

Примерно в это время ему сообщили, что его заявка (отшлифованная Ниммо) получила одобрение. Об этом ему сказал сам заведующий кафедрой и поздравил его.

Фостер посмотрел на него невидящими глазами и промямлил:

— Прекрасно... Я очень рад.

Но эти слова прозвучали так неубедительно, что профессор нахмурился и молча повернулся к нему спиной.

А Фостер тут же забыл об этом эпизоде. Это был пустяк, не заслуживавший внимания. Ему надо было думать о другом, о самом важном: в этот вечер предстояло решающее испытание.

Вечер, и еще вечер, и еще — и вот, измученный, вне себя от волнения, он позвал Поттерли. Поттерли спустился по лестнице и взглянул на самодельные приборы. Он сказал обычным мягким тоном:

— Расход электричества очень повысился. Меня смущает не денежная сторона вопроса, а то, что городские власти могут заинтересоваться причиной. Нельзя ли что-нибудь сделать?

Вечер был жаркий, но на Поттерли была рубашка с крахмальным воротничком и пиджак. Фостер, работавший в одной рубашке, поднял на него покрасневшие глаза и хрипло сказал:

— Об этом можно больше не беспокоиться, профессор Поттерли. Но я позвал вас сюда, чтобы сказать вам кое-что. Хроноскоп построить можно. Небольшой, правда, но можно.

Поттерли ухватился за перила. Его ноги подкосились, и он с трудом прошептал:

— Его можно построить здесь?

— Да, здесь, в вашем подвале, — устало ответил Фостер.

— Боже мой, но вы же говорили...

— Я знаю, что я говорил! — раздраженно крикнул Фостер. — Я сказал, что это сделать невозможно. Но тогда я ничего не знал. Даже Стербинский ничего не знал.

Поттерли покачал головой.

— Вы уверены? Вы не ошибаетесь, доктор Фостер? Я не вынесу, если...

— Я не ошибаюсь, — ответил Фостер. — Черт побери, сэр! Если бы можно было обойтись одной теорией, то обозреватель времени был бы построен более ста лет назад, когда только открыли нейтрино. Беда заключалась в том, что первые его исследователи видели в нем только таинственную частицу без массы и заряда, которую невозможно обнаружить. Она служила только для бухгалтерии — для того чтобы спасти уравнение энергия — масса.

Он подумал, что Поттерли, пожалуй, его не понимает, но ему было все равно. Он должен высказаться, должен как-то привести в порядок свои непослушные мысли... А кроме того, ему нужно было подготовиться к тому, что он скажет Поттерли после. И Фостер продолжал:

— Стербинский первым открыл, что нейтрино прорывается сквозь барьер, разделяющий пространство и время, что эта частица движется не только в пространстве, но и во времени, и Стербинский первым разработал методику остановки нейтрино. Он изобрел аппарат, записывающий движение нейтрино, и научился интерпретировать след, оставляемый потоком нейтрино. Естественно, что этот поток отклонялся и менял направление под влиянием всех тех материальных тел, через которые он проходил в своем движении во времени. И эти отклонения можно было проанализировать и превратить в образы того, что послужило причиной отклонения. Так стал возможен обзор времени. Этот способ дает возможность улавливать даже вибрацию воздуха и превращать ее в звук.

Но Поттерли его не слушал.

— Да, да, — сказал он. — Но когда вы сможете построить хроноскоп?

— Погодите! — потребовал Фостер. — Все зависит от того, как улавливать и анализировать поток нейтрино. Метод Стербинского был крайне сложным и окольным. Он требовал чудовищного количества энергии. Но я изучал псевдогравитацию, профессор Поттерли, науку об искусственных гравитационных полях. Я специализировался на изучении поведения света в подобных полях. Это новая наука. Стербинский о ней ничего не знал. Иначе он — как и любой другой человек — легко нашел бы гораздо более надежный и эффективный метод улавливания нейтрино с помощью псевдогравитационного поля. Если бы я прежде хоть немного сталкивался с нейтриникой, я сразу это понял бы.

Поттерли заметно приободрился.

— Я так и знал, — сказал он. — Хотя правительство и прекратило дальнейшие работы в области нейтриники, оно не могло воспрепятствовать тому, чтобы в других областях науки совершались открытия, как-то связанные с нейтриникой. Вот оно — централизованное руководство наукой! Я сообразил это давным-давно, доктор Фостер, задолго до того, как вы появились в университете.

— С чем вас и поздравляю, — огрызнулся Фостер. — Но надо учитывать одно...

— Ах, все это неважно! Ответьте же мне, будьте так добры, когда вы можете изготовить хроноскоп?

— Я же и стараюсь вам объяснить, профессор Поттерли: хроноскоп вам совершенно не нужен.

(«Ну, вот это и сказано», — подумал Фостер.)

Поттерли медленно спустился со ступенек и остановился в двух шагах от Фостера.

— То есть как? Почему он мне не нужен?

— Вы не увидите Карфагена. Я обязан вас предупредить. Именно потому я и позвал вас. Карфагена вы никогда не увидите.

Поттерли покачал головой.

— О нет, вы ошибаетесь. Когда у нас будет хроноскоп, его надо будет настроить как следует...

— Нет, профессор, дело не в настройке. На поток нейтрино, как и на все элементарные частицы, влияет фактор случайности, то, что мы называем принципом неопределенности. При записи и интерпретации потока фактор случайности проявляется как затуманивание, или шум, по выражению радиоспециалистов. Чем дальше в прошлое вы проникаете, тем сильнее затуманивание, тем выше уровень помех. Через некоторое время помехи забивают изображение. Вам понятно?

— Надо увеличить мощность, — сказал Поттерли безжизненным голосом.

— Это не поможет. Когда помехи смазывают детали, увеличение этих деталей увеличивает и помехи. Ведь, как ни увеличивай засвеченную пленку, ничего увидеть не удастся. Не так ли? Постарайтесь это понять. Физическая природа Вселенной ставит на пути исследователей непреодолимые барьеры. Хаотическое тепловое движение молекул воздуха определяет порог звуковой чувствительности любого прибора. Длина световой или электронной волны определяет минимальные размеры предмета, который мы можем увидеть посредством приборов. То же наблюдается и в хроноскопии. Обозревать время можно только до определенного предела.

— До какого же? До какого?

Фостер перевел дух и ответил:

— Максимально — сто двадцать пять лет.

— Но ведь в ежемесячном бюллетене Института хроноскопии указываются события, относящиеся почти исключительно к древней истории! — Профессор хрипло засмеялся. — Значит, вы ошибаетесь. Правительство располагает сведениями, восходящими к трехтысячному году до нашей эры.

— С каких это пор вы стали верить сообщениям правительства? — презрительно спросил Фостер. — Не вы ли доказывали, что правительство лжет и еще ни один историк не пользовался хроноскопом? Так неужели вы теперь не понимаете, в чем здесь причина? Хроноскоп мог бы пригодиться только ученому, занимающемуся новейшей историей. Ни один хроноскоп ни при каких условиях не в состоянии заглянуть дальше 1920 года.

— Вы ошибаетесь. Вы не можете знать всего, — упрямо твердил Поттерли.

— Однако истина не станет приспосабливаться к вашим желаниям! Взгляните правде в глаза: правительство стремится только к одному — продолжить обман.

— Но зачем?

— Этого я не знаю.

Курносый нос Поттерли дернулся, глаза налились кровью. Он сказал умоляюще:

— Это же только теория, доктор Фостер. Попробуйте построить хроноскоп. Постройте и испытайте его.

Неожиданно Фостер злобно схватил Поттерли за плечи.

— А вы думаете, что я его не построил? Вы думаете, что я сказал бы вам подобную вещь, не проверив своего вывода всеми возможными способами? Я построил хроноскоп! Он вокруг вас. Глядите!

Фостер бросился к выключателям и по очереди включил их. Он сдвинул ручку реостата, нажал какие-то кнопки и погасил свет.

— Погодите, дайте ему прогреться.

В центре одной из стен засветилось небольшое пятно. Поттерли, захлебываясь, что-то бормотал, но Фостер не слушал его и только повторил:

— Глядите!

Пятно стало более четким и распалось на черно-белый узор. Люди! Как в тумане. Лица смазаны. Вместо рук и ног — дрожащие полоски. Промелькнул старинный наземный автомобиль, очень нечеткий, — и все же, несомненно, одна из тех машин, в которых применялись двигатели внутреннего сгорания, работавшие на бензине.

— Примерно середина двадцатого века, — сказал Фостер. — Сконструировать звукоприемник я пока еще не могу. Со временем можно будет получить и звук. Но, как бы то ни было, середина двадцатого века — это практически предел. Поверьте мне, лучшей фокусировки добиться невозможно.

— Постройте большой аппарат, более мощный, — сказал Поттерли. — Усовершенствуйте его питание.

— Да послушайте же! Принцип неопределенности обойти невозможно, так же как невозможно поселиться на Солнце. Всему есть свой физический предел.

— Вы лжете, я вам не верю! Я...

Его перебил новый голос, пронзительный и настойчивый:

— Арнольд! Доктор Фостер!

Физик сразу обернулся. Поттерли замер и через несколько секунд сказал, не повернув головы:

— В чем дело, Кэролайн? Пожалуйста, не мешай нам.

— Нет! — Миссис Поттерли торопливо спускалась по лестнице. — Я все слышала. Вы так кричали. У вас правда есть обозреватель времени, доктор Фостер, здесь, в нашем подвале?

— Да, миссис Поттерли. Примерно. Хотя аппарат и не очень хорош. Я еще не могу получить звука, а изображение чертовски смазанное. Но аппарат все-таки работает.

Миссис Поттерли прижала к груди стиснутые руки.

— Замечательно! Как замечательно!

— Ничего замечательного, — рявкнул Поттерли. — Этот молокосос не может заглянуть дальше чем...

— Послушайте... — начал Фостер, выйдя из себя.

— Погодите! — воскликнула миссис Поттерли. — Послушайте меня. Арнольд, разве ты не понимаешь, что аппарат работает на двадцать лет назад и, значит, мы можем вновь увидеть Лорель? К чему нам Карфаген и всякая древность? Мы же можем увидеть Лорель! Она оживет для нас! Оставьте аппарат здесь, доктор Фостер. Покажите нам, как с ним обращаться.

Фостер переводил взгляд с миссис Поттерли на ее мужа. Лицо профессора побелело, и его голос, по-прежнему тихий и ровный, утратил обычную невозмутимость.

— Идиотка!

Кэролайн растерянно ахнула.

— Арнольд, как ты можешь!

— Я сказал, что ты идиотка. Что ты увидишь? Прошлое. Мертвое прошлое. Лорель будет повторять только то, что она делала прежде. Ты не увидишь ничего, кроме того, что ты уже видела. Значит, ты хочешь вновь и вновь переживать одни и те же три года, следя за младенцем, который никогда не вырастет, сколько бы ты ни смотрела?

Казалось, его голос вот-вот сорвется. Профессор подошел к жене, схватил ее за плечо и грубо дернул.

— Ты понимаешь, чем это может тебе грозить, если ты попробуешь сделать это? Тебя заберут, потому что ты сойдешь с ума. Да, сойдешь с ума. Неужели ты хочешь попасть в приют для душевнобольных? Чтобы тебя заперли, подвергли психической проверке?

Миссис Поттерли вырвалась из его рук. От прежней кроткой рассеянности не осталось и следа. Она мгновенно превратилась в разъяренную фурию.

— Я хочу увидеть мою девочку, Арнольд! Она спрятана в этой машине, и она мне нужна!

— Ее нет в машине. Только образ. Пойми же наконец! Образ! Иллюзия, а не реальность.

— Мне нужна моя дочь! Слышишь? — Она набросилась на мужа с кулаками, и ее голос перешел в визг. — Мне нужна моя дочь!

Историк, вскрикнув, отступил перед обезумевшей женщиной. Фостер кинулся между ними, но тут миссис Поттерли, бурно зарыдав, упала на пол.

Поттерли обернулся, озираясь, как затравленный зверь. Внезапно резким движением он вырвал из подставки какой-то стержень и отскочил, прежде чем Фостер, оглушенный всем происходящим, успел его остановить.

— Назад, — прохрипел Поттерли, — или я вас убью! Слышите?

Он размахнулся, и Фостер отступил.

Поттерли с яростью набросился на аппаратуру. Раздался звон бьющегося стекла, и Фостер замер на месте, тупо наблюдая за историком.

Наконец ярость Поттерли угасла, и он остановился среди хаоса обломков и осколков, сжимая в руке согнувшийся стержень.

— Убирайтесь, — сказал он Фостеру сдавленным шепотом, — и не смейте возвращаться. Если вы потратили на это свои деньги, пришлите мне счет, и я заплачу. Я заплачу вдвойне.

Фостер пожал плечами, взял свою куртку и направился к лестнице. До него доносились громкие рыдания миссис Поттерли. На площадке он оглянулся и увидел, что доктор Поттерли склонился над женой и на его лице написано мучительное страдание.

Два дня спустя, когда занятия кончились и Фостер устало осматривал свой кабинет, проверяя, не забыл ли он еще каких-нибудь материалов, относящихся к его одобренной теме, на пороге открытой двери вновь появился профессор Поттерли.

Историк был одет с обычной тщательностью. Он поднял руку — этот жест был слишком неопределенным для приветствия и слишком кратким для просьбы. Фостер смотрел на своего нежданного гостя ледяным взглядом.

— Я подождал пяти часов, чтобы вы... — сказал Поттерли. — Разрешите войти?

Фостер кивнул.

Поттерли продолжал:

— Мне, конечно, следует извиниться за мое поведение. Меня постигло страшное разочарование, я не владел собой, но тем не менее оно было непростительным.

— Я принимаю ваши извинения, — отозвался Фостер. — Это все?

— Если не ошибаюсь, вам звонила моя жена?

— Да.

— У нее непрерывная истерика. Она сказала мне, что звонила вам, но я не знал, можно ли поверить...

— Да, она мне звонила.

— Не могли бы вы сказать мне... Будьте так добры, скажите, что ей было нужно.

— Ей был нужен хроноскоп. Она сказала, что у нее есть собственные деньги и она готова заплатить.

— А вы... что-нибудь обещали?

— Я сказал, что я не приборостроитель.

— Прекрасно. — Поттерли с облегчением вздохнул. — Будьте добры, не отвечайте на ее звонки. Она не... не вполне...

— Послушайте, профессор Поттерли, — сказал Фостер, — я не намерен вмешиваться в супружеские споры, но вы должны твердо усвоить: хроноскоп может построить любой человек. Стоит только приобрести несколько простых деталей, которые продаются в магазинах оборудования, и его можно построить в любой домашней мастерской. Во всяком случае, ту его часть, которая связана с телевидением.

— Но ведь об этом же никто не знает, кроме вас. Ведь никто же еще до этого не додумался!

— Я не собираюсь держать это в секрете.

— Но вы не можете опубликовать свое открытие. Вы сделали его нелегально.

— Это больше не имеет значения, профессор Поттерли. Если я потеряю мою дотацию, значит, я ее потеряю. Если университет будет недоволен, я уйду. Все это просто не имеет значения.

— Нет, нет, вы не должны!

— До сих пор, — заметил Фостер, — вас не слишком заботило, что я рискую лишиться дотации и места. Так почему же вы вдруг принимаете это так близко к сердцу? А теперь разрешите, я вам кое-что объясню. Когда вы пришли ко мне впервые, я верил в строго централизованную научную работу, другими словами, в существующее положение вещей. Вас, профессор Поттерли, я считал интеллектуальным анархистом, и притом весьма опасным. Однако случилось так, что я сам за последние месяцы превратился в анархиста и при этом сумел добиться великолепных результатов. Добился я их не потому, что я блестящий ученый. Вовсе нет. Просто научной работой руководили сверху, и остались пробелы, которые может восполнить кто угодно, лишь бы он догадался взглянуть в правильном направлении. И это случилось бы уже давно, если бы государство активно этому не препятствовало. Поймите меня правильно: я по-прежнему убежден, что организованная научная работа полезна. Я вовсе не сторонник возвращения к полной анархии. Но должен существовать какой-то средний путь, научные исследования должны сохранять определенную гибкость. Ученым следует разрешить удовлетворять свою любознательность, хотя бы в свободное время.

Поттерли сел и сказал вкрадчиво:

— Давайте обсудим это, Фостер. Я понимаю ваш идеализм. Вы молоды, вам хочется получить луну с неба. Но вы не должны губить себя из-за каких-то фантастических представлений о том, как следует вести научную работу. Я втянул вас в это. Вся ответственность лежит на мне. Я горько упрекаю себя за собственную неосторожность. Я слишком поддался своим эмоциям. Интерес к Карфагену настолько меня ослепил, что я поступил, как последний идиот.

— Вы хотите сказать, что полностью отказались от своих убеждений за последние два дня? — перебил его Фостер. — Карфаген — это пустяк? Как и то, что правительство препятствует научной работе?

— Даже последний идиот, вроде меня, может кое-что уразуметь, Фостер. Жена кое-чему меня научила. Теперь я знаю, почему правительство практически запретило нейтринику. Два дня назад я этого не понимал, а теперь понимаю и одобряю. Вы же сами видели, как подействовало на мою жену известие, что у нас в подвале стоит хроноскоп. Я мечтал о хроноскопе как о приборе для научных исследований. Для нее же он стал бы только средством истерического наслаждения, возможностью вновь пережить собственное, давно исчезнувшее прошлое. А настоящих исследователей, Фостер, слишком мало. Мы затеряемся среди таких людей, как моя жена. Если бы государство разрешило хроноскопию, оно тем самым сделало бы явным прошлое всех нас до единого. Лица, занимающие ответственные должности, стали бы жертвой шантажа и незаконного нажима — ведь кто на Земле может похвастаться абсолютно незапятнанным прошлым? Таким образом, вся государственная система рассыпалась бы в прах.

Фостер облизнул губы и ответил:

— Возможно, что и так. Возможно, что в глазах правительства его действия оправданны. Но, как бы то ни было, здесь задет важнейший принцип. Кто знает, какие еще достижения науки остались неосуществленными только потому, что ученых силой загоняют на узенькие тропки? Если хроноскоп станет кошмаром для кучки политиканов, то эту цену им придется заплатить. Люди должны понять, что науку нельзя обрекать на рабство, и трудно придумать более эффективный способ открыть им глаза, чем сделать мое изобретение достоянием гласности, легальным или нелегальным путем — все равно.

На лбу Поттерли блестели капельки пота, но голос его был по-прежнему ровен.

— О нет, речь идет не просто о кучке политиканов, доктор Фостер. Не думайте этого. Хроноскоп станет и моим кошмаром. Моя жена с этих пор будет жить только нашей умершей дочерью. Она совершенно утратит ощущение действительности и сойдет с ума, вновь и вновь переживая одни и те же сцены. И таким кошмаром хроноскоп станет не только для меня. Разве мало людей, подобных ей? Люди будут искать своих умерших родителей или собственную юность. Весь мир станет жить в прошлом. Это будет повальное безумие.

— Соображения нравственного порядка ничего не решают, — ответил Фостер. — Человечество умудрялось искажать практически каждое научное достижение, какие только знала история. Человечеству пора научиться предохранять себя от этого. Что же касается хроноскопа, то любителям возвращаться к мертвому прошлому вскоре надоест это занятие. Они застигнут своих возлюбленных родителей за какими-нибудь неблаговидными делишками, и это поубавит их энтузиазм. Впрочем, все это мелочи. Меня же интересует важнейший принцип.

— К черту ваш принцип! — воскликнул Поттерли. — Попробуйте подумать не только о принципах, но и о людях. Как вы не понимаете, что моя жена захочет увидеть пожар, который убил нашу девочку! Это неизбежно, я ее знаю. Она будет впивать каждую подробность, пытаясь помешать ему. Она будет вновь и вновь переживать этот пожар, каждый раз надеясь, что он не вспыхнет. Сколько раз вы хотите убить Лорель? — голос историка внезапно осип.

И Фостер вдруг понял.

— Чего вы на самом деле боитесь, профессор Поттерли? Что может узнать ваша жена? Что произошло в ночь пожара?

Историк закрыл лицо руками, и его плечи задергались от беззвучных рыданий. Фостер смущенно отвернулся и уставился в окно.

Через несколько минут Поттерли произнес:

— Я давно отучил себя вспоминать об этом. Кэролайн отправилась за покупками, а я остался с Лорель. Вечером я заглянул в детскую проверить, не сползло ли — с девочки одеяло. У меня в руках была сигарета. В те дин я курил. Я, несомненно, погасил ее, прежде чем бросить в пепельницу на комоде, — я всегда следил за этим. Девочка спокойно спала. Я вернулся в гостиную и задремал перед телевизором. Я проснулся, задыхаясь от дыма, среди пламени. Как начался пожар, я не знаю.

— Но вы подозреваете, что причиной его была сигарета, не так ли? — спросил Фостер. — Сигарета, которую на этот раз вы забыли погасить?

— Не знаю. Я пытался спасти девочку, но она умерла, прежде чем я успел вынести ее из дому.

— И, наверное, вы никогда не рассказывали своей жене об этой сигарете?

Поттерли покачал головой.

— Но все это время я помнил о ней.

— А теперь с помощью хроноскопа ваша жена узнает все. Но вдруг дело было не в сигарете? Может быть, вы ее все-таки погасили? Разве это невозможно?

Редкие слезы уже высохли на лице Поттерли. Покрасневшие глаза стали почти нормальными.

— Яне имею права рисковать, — сказал он. — Но ведь дело не только во мне, Фостер. Для большинства людей прошлое таит в себе ужасы. Спасите же от них человечество.

Фостер молча расхаживал по комнате. Теперь он понял, чем объяснялось страстное, иррациональное желание Поттерли во что бы то ни стало возвеличить карфагенян, обожествить их, а главное, опровергнуть рассказ об огненных жертвоприношениях Молоху. Снимая с них жуткое обвинение в детоубийстве посредством огня, он тем самым символически очищал себя от той же вины.

И вот пожар, благодаря которому историк стал причиной создания хроноскопа, теперь обрекал его же на гибель. Фостер грустно поглядел на старика.

— Я понимаю вас, профессор Поттерли, но это важнее личных чувств. Я обязан сорвать удавку с горла науки.

— Другими словами, вам нужны слава и деньги, которые обещает такое открытие! — в бешенстве крикнул Поттерли.

— Оно может и не принести никакого богатства. Однако и это соображение, вероятно, играет не последнюю роль. Я ведь всего только человек.

— Значит, вы отказываетесь утаить свое открытие?

— Наотрез.

— Ну, в таком случае... — Историк вскочил и свирепо уставился на Фостера, и тот на мгновение испугался.

Поттерли был старше его, меньше ростом, слабее и, по-видимому, безоружен, но все же...

Фостер сказал:

— Если вы намерены убить меня или совершить еще какую-нибудь глупость в том же роде, то учтите, что все мои материалы находятся в сейфе и в случае моего исчезновения или смерти попадут в надлежащие руки.

— Не говорите ерунды, — сказал Поттерли и выбежал из комнаты.

Фостер поспешно закрыл за ним дверь, сел и задумался. Глупейшая ситуация. Конечно, никаких материалов в сейфе у него не было. При обычных обстоятельствах подобная мелодраматичная ерунда никогда не пришла бы ему в голову. Но обстоятельства были необычными.

И, чувствуя себя еще более глупо, он целый час записывал формулы применения псевдогравитационной оптики к хроноскопии и набрасывал общую схему приборов. Кончив, он запечатал все в конверт, на котором написал адрес Ральфа Ниммо.

Всю ночь он проворочался с боку на бок, а утром, по дороге в университет, занес конверт в банк и отдал соответствующее распоряжение контролеру, который предложил ему подписать разрешение на вскрытие сейфа в случае его смерти.

После этого Фостер позвонил дяде и сообщил ему про конверт, сердито отказавшись объяснить, что именно в нем содержится.

Никогда в жизни он еще не чувствовал себя в таком глупом положении.

Следующие две ночи Фостер почти не спал, пытаясь найти решение весьма практической задачи — каким способом опубликовать материал, полученный благодаря вопиющему нарушению этики.

Журнал «Сообщения псевдогравитационного общества», который был знаком ему лучше других, разумеется, отвергнет любую статью, лишенную магического примечания: «Исследование, изложенное в этой статье, оказалось возможным благодаря дотации N... Комиссии по делам науки при ООН». И, несомненно, так же поступит «Физический журнал».

Конечно, всегда имеется возможность обратиться к второстепенным журналам, которые в погоне за сенсацией не стали бы слишком придираться к источнику статьи, но для этого требовалось совершить небольшую финансовую операцию, крайне для него неприятную. В конце концов он решил оплатить издание небольшой брошюры, предназначенной для распространения среди ученых. В этом случае можно будет даже пожертвовать тонкостями стиля ради быстроты и обойтись без услуг писателя. Придется поискать надежного типографа. Впрочем, дядя Ральф, наверное, сможет ему кого-нибудь порекомендовать.

Он направлялся к своему кабинету, тревожно раздумывая, стоит ли медлить, и собираясь с духом, чтобы позвонить Ральфу по служебному телефону и тем самым отрезать себе пути к отступлению. Он был так поглощен этими мрачными размышлениями, что, только сняв пальто и подойдя к своему письменному столу, заметил наконец, что в кабинете он не один.

На него смотрели профессор Поттерли и какой-то незнакомец.

Фостер смерил их удивленным взглядом.

— В чем дело?

— Мне очень жаль, — сказал Поттерли, — но я вынужден был найти способ остановить вас.

Фостер продолжал недоуменно смотреть на него.

— О чем вы говорите?

Неизвестный человек сказал:

— По-видимому, я должен представиться. — И улыбнулся, показав крупные, слегка неровные зубы. — Мое имя Тэддиус Эремен, заведующий отделом хроноскопии. Я пришел побеседовать с вами относительно сведений, которые мне сообщил профессор Арнольд Поттерли и которые подтверждены нашими собственными источниками...

— Я взял всю вину на себя, доктор Фостер, — поспешно сказал Поттерли. — Я рассказал, что именно я толкнул вас против вашей воли на неэтичный поступок. Я готов принять на себя всю полноту ответственности и понести наказание. Мне бы не хотелось ничем вам повредить, но появления хроноскопии допускать нельзя.

Эремен кивнул.

— Он действительно взял всю вину на себя, доктор Фостер. Но дальнейшее от него не зависит.

— Ах, вот как! — сказал Фостер. — Так что ж вы собираетесь предпринять? Внести меня в черный список и лишить права на получение дотации?

— Я могу это сделать, — ответил Эремен.

— Приказать университету уволить меня?

— И это я тоже могу.

— Ну ладно, валяйте! Считайте, что это уже сделано. Я уйду из кабинета теперь же, вместе с вами, а за книгами пришлю позднее. Если вы требуете, я вообще могу оставить книги здесь. Теперь все?

— Не совсем, — ответил Эремен. — Вы должны дать обязательство прекратить дальнейшие работы в области хроноскопии, не публиковать сведений о ваших открытиях в этом направлении и, разумеется, не собирать хроноскопов. Вы навсегда останетесь под наблюдением, которое помешает вам нарушить это обещание.

— Ну, а если я откажусь дать такое обещание? Как вы меня заставите? Занимаясь не тем, чем я должен заниматься, я, возможно, нарушаю этику, но это же не преступление.

— Когда речь идет о хроноскопе, мой юный друг, — терпеливо объяснил Эремен, — это именно преступление. Если понадобится, вас посадят в тюрьму, и навсегда.

— Но почему? — вскричал Фостер. — Чем хроноскопия так замечательна?

— Как бы то ни было, — продолжал Эремен, — мы не можем допустить дальнейших исследований в этой области. Моя работа в основном сводится именно к тому, чтобы препятствовать им. И я намерен выполнить мой служебный долг. К несчастью, ни я, ни сотрудники моего отдела не подозревали, что оптические свойства псевдогравитационных полей имеют столь прямое отношение к хроноскопии. Одно очко в пользу всеобщего невежества, но с этих пор научная работа будет регулироваться соответствующим образом и в этом направлении.

— Ничего не выйдет, — ответил Фостер. — Найдется еще какой-нибудь смежный принцип, не известный ни вам, ни мне. Все области в науке тесно связаны между собой. Это единое целое. Если вам нужно остановить какой-то один ее процесс, вы вынуждены будете остановить их все.

— Несомненно, это справедливо, — сказал Эремен, — но только теоретически. На практике же нам прекрасно удавалось в течение пятидесяти лет удерживать хроноскопию на уровне первых открытий Стербинского. И, вовремя остановив вас, доктор Фостер, мы надеемся и впредь справляться с этой проблемой не менее успешно. Должен вам заметить, что на грани катастрофы мы сейчас оказались только потому, что я имел неосторожность судить о профессоре Поттерли по его внешности.

Он повернулся к историку и поднял брови, словно посмеиваясь над собой.

— Боюсь, сэр, во время нашей первой беседы я счел вас всего лишь обыкновенным профессором истории. Будь я более добросовестным и проверь вас повнимательнее, этого не случилось бы.

— Но кому-то разрешается пользоваться государственным хроноскопом? — отрывисто спросил Фостер.

— Вне нашего отдела — никому и ни под каким предлогом. Я говорю об этом только потому, что вы, как я вижу, уже сами об этом догадались. Но должен предостеречь вас, что оглашение этого факта будет уже не нарушением этики, а уголовным преступлением.

— И ваш хроноскоп проникает не дальше ста двадцати пяти лет, не так ли?

— Вот именно.

— Значит, ваш бюллетень и сообщения о хроноскопировании античности — сплошное надувательство?

Эремен невозмутимо ответил:

— Собранные вами данные доказывают это с достаточной неопровержимостью. Тем не менее я готов подтвердить ваши слова. Этот ежемесячник — надувательство.

— В таком случае, — заявил Фостер, — я не намерен давать обещания скрывать то, что мне известно о хроноскопии. Если вы решили меня арестовать, — что ж, это ваше право. Моей защитительной речи на суде будет достаточно, чтобы раз и навсегда сокрушить вредоносный карточный домик руководства наукой. Руководить наукой — это одно, а тормозить ее и лишать человечество ее достижений — это совсем другое.

— Боюсь, вы не вполне понимаете положение, доктор Фостер, — сказал Эремен. — В случае отказа сотрудничать с нами вы отправитесь в тюрьму немедленно. И к вам не будет допущен адвокат. Вам не будет предъявлено обвинение. Вас не будут судить. Вы просто останетесь в тюрьме.

— Ну, нет, — ответил Фостер. — Вы стараетесь меня запугать. Сейчас ведь не двадцатый век.

За дверью кабинета раздался шум, послышался топот и визгливый вопль, который показался Фостеру знакомым. Заскрежетал замок, дверь распахнулась, и в комнату влетел клубок из трех тел.

В тот же момент один из боровшихся поднял свой бластер и изо всех сил ударил противника по голове. Послышался глухой стон, и тот, кого ударили, весь обмяк.

— Дядя Ральф! — крикнул Фостер.

— Посадите его в это кресло, — нахмурившись, приказал Эремен, — и принесите воды.

Ральф Ниммо, осторожно потирая затылок, заметил с легкой брезгливостью:

— Право же, Эремен, прибегать к физическому насилию не было никакой надобности.

— Жаль, что охрана прибегла к физическому насилию слишком поздно и вы все-таки ворвались сюда, Ниммо, — ответил Эремен. — Ну, тем хуже для вас.

— Вы знакомы? — спросил Фостер.

— Я уже имел дело с этим человеком, — вздохнул Ниммо, продолжая потирать затылок. — Уж если он явился к тебе собственной персоной, племянничек, значит, беды тебе не миновать.

— И вам тоже, — сердито сказал Эремен. — Мне известно, что доктор Фостер консультировался у вас относительно литературы по нейтринике.

Ниммо было нахмурился, но тут же вздрогнул от боли и поспешил разгладить морщины на лбу.

— Вот как? — сказал он. — А что еще вам про меня известно?

— В ближайшее время мы узнаем о вас все. А пока достаточно и этого. Зачем вы сюда явились?

— Дражайший доктор Эремен, — сказал Ниммо, к которому отчасти вернулась его обычная легкомысленная манера держаться. — Позавчера мой осел племянник позвонил мне. Он поместил какие-то таинственные документы...

— Молчите, не говорите ему ничего! — воскликнул Фостер.

Эремен холодно взглянул на молодого физика.

— Нам все известно, доктор Фостер. Ваш сейф вскрыт, и его содержимое конфисковано.

— Но откуда вы узнали... — Фостер умолк, задохнувшись от ярости и разочарования.

— Как бы то ни было, — продолжал Ниммо, — я решил, что кольцо вокруг него уже замыкается и, приняв кое-какие меры, явился сюда, намереваясь убедить его бросить заниматься тем, чем он занимается. Ради этого ему не стоило губить свою карьеру.

— Из этого следует, что вы знали, чем он занимается? — спросил Эремен.

— Он мне ничего не рассказывал, — ответил Ниммо, — но я же писатель при науке с чертовски большим опытом! Я ведь знаю, почем фунт электронов. Мой племянничек специализируется по псевдогравитационной оптике и сам же втолковал мне ее основные принципы. Он уговорил меня достать ему учебник по нейтринике, и, прежде чем отдать ему пленку, я сам быстренько ее просмотрел. А помножить два на два я умею. Он попросил меня достать ему определенное физическое оборудование, что также о многом говорило. Думаю, я не ошибусь, сказав, что мой племянник построил полупортативный хроноскоп малой мощности. Да или... Да?

— Да. — Эремен задумчиво достал сигарету, не обратив ни малейшего внимания на то, что профессор Поттерли, который наблюдал за происходящим как во сне, со стоном отшатнулся от белой трубочки. — Еще одна моя ошибка. Мне следует подать в отставку. Я должен был бы присматривать и за вами, Ниммо, а не заниматься исключительно Поттерли и Фостером. Правда, у меня было мало времени. Вы сами благополучно сюда явились. Но это не может служить мне оправданием. Вы арестованы, Ниммо.

— За что? — возмущенно спросил писатель.

— За нелегальные научные исследования.

— Я их не вел. И к тому же я не принадлежу к категории зарегистрированных ученых, и значит, подобное определение ко мне не подходит. Да и в любом случае — это не уголовное преступление.

— Бесполезно, дядя Ральф, — свирепо перебил его Фостер. — Этот бюрократ вводит собственные законы.

— Например? — спросил Ниммо.

— Например, пожизненное заключение без суда.

— Чушь! — воскликнул Ниммо. — Сейчас же не двадца...

— Я уже это говорил, — пояснил Фостер. — Ему все равно.

— И все-таки это чушь, — Ниммо уже кричал. — Слушайте, Эремен! К вашему сведению, у меня и моего племянника есть родственники, которые поддерживают с нами связь. Да и у профессора, наверное, тоже. Вам не удастся убрать нас без шума. Начнется расследование, и разразится скандал. Сейчас не двадцатый век, что бы вы ни говорили. Так что не пробуйте нас запугать.

Сигарета в пальцах Эремена лопнула, и он с яростью отшвырнул ее в сторону.

— Черт возьми! Не знаю, что и делать, — сказал он. — Впервые встречаюсь с подобным случаем... Ну, вот что: вы, трое идиотов, не имеете ни малейшего представления, что именно вы затеяли. Вы ничего не понимаете. Будете вы меня слушать?

— Отчего же, — мрачно сказал Ниммо.

(Фостер молчал, крепко сжав губы. Глаза его сердито сверкали. Руки Поттерли извивались, как две змеи.)

— Для вас прошлое — мертвое прошлое, — сказал Эремен. — Если вы обсуждали этот вопрос, так уж, наверное, пустили в ход это выражение. Мертвое прошлое! Если бы вы знали, сколько раз я слышал эти два слова, то вам бы они тоже стали поперек глотки. Когда люди думают о прошлом, они считают его мертвым, давно прошедшим, исчезнувшим навсегда. И мы стараемся укрепить их в этом мнении. Сообщая об обзоре времени, мы каждый раз называли давно прошедшее столетие, хотя вам, господа, известно, что заглянуть в прошлое больше чем на сто лет вообще невозможно. И всем это кажется естественным. Прошлое для широкой публики означает Грецию, Рим, Карфаген, Египет, каменный век. Чем мертвее, тем лучше. Но вы-то знаете, что пределом является столетие. Так что же в таком случае для вас прошлое? Ваша юность. Ваша первая любовь. Ваша покойная мать. Двадцать лет назад. Тридцать лет назад. Пятьдесят лет назад. Чем мертвее, тем лучше... Но когда же все-таки начинается прошлое?

Он задохнулся от гнева. Его слушатели не сводили с него завороженных глаз, а Ниммо беспокойно заерзал в кресле.

— Ну, так когда же оно начинается? — сказал Эремен. — Год назад, пять минут назад? Секунду назад? Разве не очевидно, что прошлое начинается сразу за настоящим? Мертвое прошлое — это лишь другое название живого настоящего. Если вы наведете хроноскоп на одну сотую секунды тому назад? Ведь вы же будете наблюдать прошлое! Ну, как, проясняется?

— Черт побери! — сказал Ниммо.

— Черт побери! — передразнил Эремен. — После того как Поттерли пришел ко мне позавчера вечером, каким образом, по-вашему, я собрал сведения о вас обоих? Да с помощью хроноскопа! Просмотрев все важнейшие моменты по самую последнюю секунду.

— И таким образом вы узнали про сейф? — спросил Фостер.

— И про все остальное. А теперь скажите, что, по-вашему, произойдет, если мы допустим, чтобы про домашний хроноскоп узнала широкая публика? Разумеется, сперва люди начнут с обзора своей юности, захотят увидеть вновь своих родителей и прочее, но вскоре они сообразят, какие потенциальные возможности таятся в этом аппарате. Домашняя хозяйка забудет про свою бедную покойную мамочку и примется следить, что делает ее соседка дома, а ее супруг у себя в конторе. Делец будет шпионить за своим конкурентом, хозяин — за своими служащими. Личная жизнь станет невозможной. Подслушивание по телефону, наблюдение через замочную скважину покажутся детскими игрушками по сравнению с этим. Публика будет любоваться каждой минутой жизни кинозвезд, и никому не удастся укрыться от любопытных глаз. Даже темнота не явится спасением, потому что хроноскоп можно настроить на инфракрасные лучи и человеческие тела будут видны благодаря излучаемому ими теплу. Разумеется, это будут только смутные силуэты на черном фоне. Но пикантность от этого только возрастет... Техники, обслуживающие хроноскоп, проделывают подобные эксперименты, несмотря на все запрещения.

Ниммо сказал, словно борясь с тошнотой:

— Но ведь можно же запретить частное пользование...

— Конечно, можно. Но что толку? — яростно набросился на него Эремен. — Удастся ли вам с помощью законов уничтожить пьянство, курение, разврат или сплетни? А такая смесь грязного любопытства и щекотания нервов окажется куда более сильной приманкой, чем все это. Да ведь за тысячу лет нам не удалось покончить даже с употреблением наркотиков! А вы говорите о том, чтобы в законодательном порядке запретить аппарат, который позволит наблюдать за кем угодно и когда угодно, аппарат, который можно построить у себя дома!

— Я ничего не опубликую! — внезапно воскликнул Фостер.

Поттерли сказал с рыданием в голосе:

— Мы все будем молчать. Я глубоко сожалею...

Но тут его перебил Ниммо:

— Вы сказали, что не проверили меня хроноскопом, Эремен?

— У меня не было времени, — устало ответил Эремен. — События в хроноскопе занимают столько же времени, сколько в реальной жизни. Этот процесс нельзя ускорить, как, например, прокручивание пленки в микрофильме. Нам понадобились целые сутки, чтобы установить наиболее важные моменты в деятельности Поттерли и Фостера за последние шесть месяцев. Ни на что другое у нас не хватило времени. Но и этого было достаточно.

— Нет, — сказал Ниммо.

— Что вы хотите этим сказать? — лицо Эремена исказилось от мучительной тревоги.

— Я же объяснил вам, что мой племянник Джонас позвонил мне и сообщил, что спрятал в сейф важнейшие материалы. Он вел себя так, словно ему грозила опасность. Он же мой племянник, черт побери! Я должен был как-то ему помочь. На это потребовалось время. А потом я пришел сюда, чтобы рассказать ему о том, что сделал. Я же сказал вам, когда ваш охранник хлопнул меня по голове, что принял кое-какие меры.

— Что?! Ради бога...

— Я всего только послал подробное сообщение о портативном хроноскопе в десяток периодических изданий, которые меня печатают.

Ни слова. Ни звука. Ни вздоха. У них уже не осталось сил.

— Да не глядите на меня так! — воскликнул Ниммо. — Неужели вы не можете понять, как обстояло дело! Право популярного издания принадлежало мне. Джонас не будет этого отрицать. Я знал, что легальным путем он не сможет опубликовать свои материалы ни в одном научном журнале. Мне было ясно, что он собирается издать свои материалы нелегально и для этого поместил их в сейф. Я решил сразу опубликовать детали, чтобы вся ответственность пала на меня. Его карьера была бы спасена. А если бы меня лишили права обрабатывать научные материалы, я все равно был бы обеспечен до конца своих дней, так как только я мог бы писать о хроноскопии. Я знал, что Джонас рассердится, но собирался все ему объяснить, а доходы поделить пополам... Да не глядите же на меня так! Откуда я знал...

— Никто ничего не знал, — с горечью сказал Эремен, — однако вы все считали само собой разумеющимся, что правительство состоит из глупых бюрократов, злобных тиранов, запрещающих научные изыскания ради собственного удовольствия. Вам и в голову не пришло, что мы по мере наших сил старались оградить человечество от катастрофы.

— Да не тратьте же время на пустые разговоры! — вскричал Поттерли. — Пусть он назовет тех, кому сообщил...

— Слишком поздно, — ответил Ниммо, пожимая плечами. — В их распоряжении было больше суток. За это время новость успела распространиться. Мои издатели, несомненно, обратились к различным физикам, чтобы проверить материалы, прежде чем подписать их в печать, ну, а те, конечно, сообщили об этом открытии всем остальным. А стоит физику соединить нейтринику и псевдогравитику, как создание домашнего хроноскопа станет очевидным. До конца недели по меньшей мере пятьсот человек будут знать, как собрать портативный хроноскоп, и проверить их всех невозможно. — Пухлые щеки Ниммо вдруг обвисли. — По-моему, не существует способа загнать грибовидное облако в симпатичный блестящий шар из урана.

Эремен встал.

— Конечно, мы попробуем, Поттерли, но я согласен с Ниммо. Слишком поздно. Я не знаю, в каком мире мы будем жить с этих пор, но наш прежний мир уничтожен безвозвратно. До сих пор каждый обычай, каждая привычка, каждая крохотная деталь жизни всегда опиралась на тот факт, что человек может остаться наедине с собой, но теперь это кончилось.

Он поклонился им с изысканной любезностью.

— Вы втроем создали новый мир. Поздравляю вас. Счастливо плескаться в аквариуме! И вам, и мне, и всем. И пусть каждый из вас во веки веков горит в адском огне! Арест отменяется.